

**С. СМОЛЯНИЦКИЙ**  
**ТОРОПИСЬ**  
**С ОТВЕТОМ**

*Короткие повести и рассказы*





С. Смоляницкий — участник Великой Отечественной войны, был ранен, вместе с полком прошел путь от наших западных границ до Берлина.

В 1945 году во фронтовых газетах появились его стихи. Больше он не публиковал стихов, а, вернувшись после войны в Москву, начал выступать в газетах как очеркист. Окончив в 1950 году филологический факультет МГУ, некоторое время преподавал литературу в школе, а затем в 1956 году уехал в Сибирь собственным корреспондентом «Литературной газеты».

С тех пор литературная жизнь Смоляницкого прочно связана с этой газетой, где появляются его очерки, статьи, рецензии.

С. Смоляницкий много ездит по стране, бывает в самых отдаленных уголках Сибири. Впечатления о Сибири, ее людях, природе дали материал для первых книжек — «Встречи в пути» (очерки и рассказы), «Здравствуй, Сибирь», «Слушай, жизнь», «Добрые спутники человека» и «Насовсем».

В последние годы С. Смоляницкий публикует в периодической печати пьесы, повести, рассказы.

**С. СМОЛЯНИЦКИЙ**

**ТОРОПИСЬ  
С ОТВЕТОМ**

---

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ**

**Издательство  
«Советская Россия»  
Москва  
1971**

- C51 **Смоляницкий С.**  
**Торопись с ответом. Повести и рассказы. М.,**  
**«Сов. Россия», 1971.**  
**112 с. (Короткие повести и рассказы).**

Герои этой книги — наши современники, люди разных профессий — ученые и рабочие, музыканты и журналисты, молодежь и те, кто по возрасту годится им в отцы.

Они проявляют себя в разных, казалось бы, далеких друг от друга сферах, но тем не менее повести и рассказы, составляющие книгу, объединяет единая сквозная тема — ответственность человека перед другими людьми перед обществом, перед самим собой за свою жизнь, за все содеянное и совершенное. Автор намеренно драматизирует события, обостряет ситуации, в которые ставит своих героев. Именно в эти наиболее напряженные моменты их биографии жизнь ставит перед ними вопросы, требующие бескомпромиссного ответа, определения, как поступить,

**7—3—2**

**191—71**



## ДОЙТИ ДО ГОРИЗОНТА

Повесть

### 1

С воющим, раздирающим душу звуком падал самолет. Не падал — неся вниз в рваном кольце пламени и дыма.

Стремительно нарастает звук, все ближе живая, извивающаяся черно-красная туча, намертво вцепившаяся в самолет.

Ближе. Неотвратимей.

Но не было удара и взрыва, взметнувшегося вверх ослепительно-белого вихря, в мгновение ставшего черным. Не было — потому что тогда не было бы ее. С болью рвет она пути сна — последнее, что в ее силах...

Полина Александровна открывает глаза. Она еще на грани кошмара, но уже ощущает: и на этот раз победила она. Не было удара, взрыва, смерти.

Не было в снах — потому что она никогда не примирится с этим. Никогда.

Теперь несколько минут она должна лежать, не двигаясь, и ждать, пока успокоится сердце. Потом принять лекарство — оно всегда под рукой. А потом можно встать — все равно не уснуть.

Тишина стояла глубокая. Какая глубокая тишина! С острой, резанувшей сердце болью Полина Александровна ощутила пустоту большой квартиры — словно не было стен и она одна стоит в пространстве, залитом пустотой и холодом. Ее охватил озноб. Она оперлась рукой о стену — там, за ней, кабинет Кости. Вот уже девять лет после его гибели это комната Валентина, но для нее по-прежнему — кабинет Кости. В нем — его вещи, модели самолетов, трубки.

Место на стене, к которому она прикоснулась, стало теплым. Какая все-таки большая квартира — Костя так радовался ей, он любил, чтобы бывали люди, чтобы было, как он говорил, куда посадить... Теперь во всей квартире она да Майя. Ах, Майя, Майя, единственная, кто с ней всегда. Полине Александровне захотелось войти в ее комнату, посмотреть, как она спит, укрыть, как это бывало когда-то, давным-давно. Но она побоялась разбудить Майю, да еще чего доброго — испугать. Майя и не подозревала о бессонных часах, которые мучили ее мать — все чаще в последнее время.

Полина Александровна села в свое кресло у окна и отдернула штору.

Пустынная улица уходила в темноту. Струящийся желтоватый свет фонарей растворялся во мгле, и от этого казалось, что воздух слабо мерцает — холодно и отчужденно. Только свежий снег, выпавший с вечера, был живым — Полине Александровне показалось даже, что она ощутила его холодноватый, с горчинкой запах.

Она любила чистый, белый, легкий падающий снег, несущий свежесть и словно стирающий грязь города, потому что его любил Костя, — и снова, как всегда в эти часы, в памяти всплывали картины, словно бы не связанные друг с другом...

Живой, смеющийся Костя падает вместе с ней в сугроб в ту новогоднюю ночь сорок пятого года, когда он вернулся домой. В ней до сих пор не погасло это ощущение счастья его возвращения — живой, живой, в огне не сгоревший летчик-штурмовик.

Ей виделся Костя, таскающий Майю на плечах; за столом среди друзей; на пороге квартиры, когда он возвращался после удачного полета, измученный, но счастливый, и впереди были дни безмятежного отдыха.

Все прошлые тревоги, связанные с его послевоенной профессией летчика-испытателя, сейчас не помнились, как и тот черный день его гибели — они принадлежали ночным кошмарам. Она не смогла бы жить, если бы это не уходило днем, если бы память не подчинялась ей, когда реальная жизнь вступала в свои права.

За окном стало светлеть. Фонари еще горели, но утренняя бледная синева стирала их свет, и все явственней выступала чистая белизна снега. Посветлело и в комнате — тени гасли, начинался день. И Полина Александровна почувствовала, что она уже не наедине с прошлым. Оживала улица, появились первые ранние прохожие; к остановке напротив ее дома подошел автобус.

Надо было жить днем сегодняшним и завтрашним, и Полина Александровна привычным усилием воли заставила себя подняться и одеться, хотя после бессонной ночи у нее кружилась голова и слабость сковала все тело. Но это пройдет. Она знала — это понемногу пройдет, как только она начнет двигаться.

С улицы доносился глухой шум — там начиналось движение, — и этот шум, и разбросанные вещи в комнате, которые надо было убрать, помогли ей прийти в себя. Пока Полина Александровна умывалась, убиралась, мысли ее потекли по привычной колее повседневных забот. Ее тревожило, что от Вали давно нет письма. Последний раз, месяц назад, он писал, что они вернулись из экспедиции по Саянам и ждут вестей еще от одной группы с самым дальним маршрутом. И ни слова о Всеволоде, своем друге, Майином женихе. Коротенькое это письмецо, внешне вполне обыкновенное, пугало своей неясностью. Валя, всегда такой точный и обстоятельный, на этот раз, казалось, изо всех сил старался ничего не сказать и в то же время представить дело так, будто бы все было в порядке. Что с Всеволодом? Когда они вернутся в Москву? Что это за дальняя группа, от которой они ждут вестей? И почему Всеволод, ухитрявшийся писать Майе из таких мест, где и почты не было, вот уже почти два месяца не присылал ни строчки? А ведь в конце ноября по их расчетам должна быть свадьба, и у Майи все было готово, а сегодня уже пятнадцатое... Странно, что Майя не заговаривала об этом, — не хотела ее беспокоить?

Чем больше думала Полина Александровна о письме, тем тревожнее становилось на душе. Она давно уже решила позвонить в управление к друзьям Валентина и Всеволода, что-то узнать там, но все откладывала — боялась этого звонка, надеялась получить второе письмо. Оно не пришло, и сегодня истекал последний срок, который она дала себе. Сегодня она позвонит.

Полина Александровна взглянула на часы: восемь. Пора будить Майю и готовить завтрак. Хотя нет, сегодня суббота — она может поспать и подольше. Полина Александровна услышала шаги из кухни

и потом плеск воды в ванной. Что это она так рано? В субботу у них занятий не бывает...

На улице снова пошел снег — крупными редкими снежинками. Потоки воздуха беспорядочно швыряли их в разные стороны, вздымали вверх и вниз, и, казалось, над городом летают живые существа — белые мухи, как говорят сибиряки.

\* \* \*

— Как странно,— сказала Майя,— будто все плывет. Только очень медленно. Ты чувствуешь?

— Да,— ответил Юра.

Майя засмеялась:

— Ничего не надо. Совсем ничего. Люди должны умирать так. Когда ничего не надо.

— Не умирай,— сказал Юра.— Пожалуйста, не умирай. Если можешь, конечно!

— Как скажешь, мой хан и повелитель,— она попробовала принять его тон, но не смогла.— Только чтобы был ты. Всегда.

Действительно, плывет, подумал Юра, если закрыть глаза. Не зря именно так и пишут в романах. Неужели и вправду так бывает? Открою глаза и увижу ее. И все это не во сне.

— Где ты была раньше?

— Когда?

— Давно.

— Ходила в школу.

— А потом?

— Кончила школу и поступила в университет. На географический.

— Почему географический?

— Наверно, из-за Вальки.

— А потом?

— Не надо «потом»,— сказала Майя.— Это неважно. Все неважно.

Юра замолчал. Удивительно — и у него так. Все неважно. До этого дня.

— О чем ты подумал?

— Да так. Не верится...

— И мне. Так не бывает, правда? Только у нас.— Майя замолчала.— Ты знаешь,— снова заговорила она,— когда нас познакомили и ты на меня посмотрел... Я решила — нет... Ты был какой-то неловкий. И очень обыкновенный. Даже двух слов не сказал. И сидел, сгорбившись. Только смотрел на меня.

— А ты веселилась всюю.

— Мне было тоскливо. Сама не знаю почему. И потом,— Майя



говорила медленно, по одному слову, словно самой себе.— И потом тоже... Когда я увидела тебя на автобусной остановке, как ты стоял и ждал меня — руки в карманы, лицо озабоченное... Я подумала: ну уж нет. Лучше не надо. И вдруг — такое...

— Вдруг?— переспросил Юра и не узнал своего голоса.— Но когда на автобусной остановке... Ведь это было уже, когда мы... И в тот самый вечер...

Голос просто не слушался его. Что он лепечет? Ерунду какую-то. Как мальчишка. Ну, да — ерунду. Значит, все, что было до этого дня — ерунда? Не имело цены? Все в нем сжалось. Стало холодно. Ну, вот и все. Неужели все? Встать и уйти. Уйти? Но Юра даже не шевельнулся.

— Куда ты ушел?— вдруг сказала Майя.— Где ты?— повторила она с тревогой.

Не надо, подумал Юра, может, она просто не понимает. Да, но дело не в этом. Наверно, у нее не так, как у меня. Росло постепенно, а она говорила «нет», но не могла противиться и выискивала всякие «нет». Может — так. А может — и не так...

— Я сказала что-то не то, да?— лицо у нее было растерянное, несчастное.

Юра молчал.

— Понимаешь, я говорю тебе, как себе... Как это объяснить... Потому что мы одно — понимаешь?

Вот как бывает. Совсем не так, как казалось минуту назад. И секунды, когда все тихо плывет, и ничего не надо, уже не повторяются. Ничего, видно, на этом свете не повторяется. А теперь началось другое. Наверно, это и есть жизнь — настоящая, а не придуманная, где будет все: горечь, сомнения, ошибки. И она со всем этим будет с ним. Открытая и безжалостная в своей искренности. Та, что так много может понять. И без слов знать, что происходит у тебя в душе. А может быть и глухой, слушать только себя, то, что в ней. Мы еще хлебнем, подумал Юра. А она будет с ним. И он будет видеть ее, когда она просыпается и когда вечером приходит домой. И черт знает что будет думать, если она задержится.

— Ну, вот. Теперь ты пришел. Теперь ты здесь. Со мной,— сказала Майя, глядя в его лицо.— Только больше не уходи. Никогда не уходи, ладно?

\* \* \*

Майя долго, дольше обычного, плескалась в ванной и одевалась. Инстинктивно она все отдаляла ту минуту, когда выйдет на кухню и увидит мать.

Сегодня она должна все сказать. Сегодня — больше оттягивать нельзя. Боясь, что смалодушничает и на этот раз, Майя нарочно от-

резала все пути к отступлению — пригласила Юру к обеду. Пусть ее судят. Пусть говорят, что хотят. Пусть. Она готова ко всему. Все порвать. Уйти из дома. Уехать. Все что угодно — лишь бы быть с Юрой. Да, уехать. Другого выхода нет — никто не простит ей предательства по отношению к Севе накануне свадьбы с ним. И мама не простит. И — Валька.

Эх, Сева, Сева, свет в окошке для мамы, Валькин верный друг, он, может быть, единственный, кто ее поймет. Они могли не разговаривать — он знал, о чем она думает. Он только и поймет, что иначе она не может.

— Я не знала раньше, что это такое, когда говорят — счастье. Только думала, что знала. А теперь знаю. Это нельзя объяснить.

— Конечно, легче объяснить, что такое несчастье, — скажет Сева и попытается улыбнуться и заговорить о другом.

— Мне было спокойно с тобой, легко, а теперь когда думаю о Юре, страшно — вдруг все оборвется?

Она должна ему это сказать и еще другое — и он поймет.

...Юра рассказал, как прошлым летом он провел месяц в избушке на озере, и я представила себе, как мы с Юрой идем по берегу, и садится солнце, и нет ветра, и так тихо.

Я хочу с ним ходить по траве, вечером читать, когда он стучит на своей машинке, и что-то спросить у него, самый пустяк, и услышать ответ, и покупать для него рубашки, и стирать.

Вчера я рассказала про эту избушку своей подруге и плакала, потому что не знаю, что будет с нами, хватит ли у меня сил выдерживать все, что начнется потом, когда узнают мама и Валька. Я знаю, что принесу тебе несчастье, но я не могу по-другому. У меня не будет другой жизни. Она одна...

А если бы она сама услышала такое от Юры? — вдруг ужаснулась Майя.

Что бы там ни было, лучше так. Все равно — лучше так.

Еще мне скажут: если ты так легко зачеркиваешь годы дружбы с Севой, то от тебя всего можно ждать. Сегодня Юра, а через месяц? Нет, ни мама, ни Валька не скажут — будут молчать и осуждать в душе и избегать встречаться взглядом. Хуже всего, что будет именно так.

Майя представила себе лицо матери, когда она узнает. Будто со стороны, Майя увидела, как мать посмотрит на нее, еще не понимая, не веря, а потом опустится на стул и будет долго молчать, и согнется, словно ее придавили, и станет совсем маленькой. А потом — даже страшно было подумать, что будет потом.

Лучше ни о чем не думать и стоять так под теплым дождиком — долго, долго. Дождик, дождик, перестань... Как Сева тогда радовался дождю — теплому, мягкому, веселому, первому в июне; как мчался

через улицу, крепко держа ее за руку, а в воздухе стоял звон, и возле тротуаров пенились ручьи, и вода в лужах пузырилась, потому что капли были тяжелые, крупные, быстрые — она вымокла в одну секунду. Они вбежали под арку, там была толкотня, все было мокрое, но настроение приподнятое — этот дождь среди бела дня словно объединил всех. Она увидела близко от себя лицо Севы, по которому текли большие капли, его мокрые, потемневшие, сбившиеся на лоб волосы, смеющиеся, счастливые глаза и сказала «да», не сказала — подумала, но он сразу понял и сжал ее руку.

Сева уехал на следующий день, но они успели обо всем договориться и все решить. И сказать маме — а она только и ждала этого, и так радовалась. И все эти месяцы жила этим и радовалась. Жила своей радостью и хлопотами...

Ну, а для Вальки все было давно решено. Как они любят устраивать жизнь других людей по своему усмотрению. И Валька. И мама, которая убеждена, что только одна знает, как сделать, чтобы ее Майя была счастлива. Конечно, ведь только она знает, как надо жить, и никогда не допустит даже мысли, что ее Майя может думать по-другому. Для мамы это было бы просто предательством. Предательством всей ее жизни. Да и для Вальки — тоже. Он ведь рыцарь без страха и упрека.

А действительно, так — без страха и упрека. Рядом с Валею Майя всегда чувствовала себя в чем-то виноватой. Когда-то ей очень хотелось стать такой, как он. Ни в чем не отступаться от своего слова. Чтобы и ей нельзя было солгать, даже в самой малости.

Она очень старалась. Завела дневник, казнила себя за малейшее отступление от правил «жизни и борьбы», которые сама сочинила. Тогда ей было лет пятнадцать...

Майя улыбнулась своим мыслям — все-таки хорошее было время. Хорошее. Чистое.

...Мама погасила свет и ушла, и теперь наступало самое главное. Надо еще дождаться тишины, чтобы все улеглось и не слышно было ни шагов, ни звяканья посуды на кухне. Чтобы в целом свете была тишина — тогда кажется, что тебя слушают все, весь мир. На стене, напротив окна, дрожит слабая полоска света. Если долго смотреть на нее, она меняется — похожа то на лису с длинным хвостом, то на ползущую змею. Голубые тени пробегают по потолку. Теперь надо закрыть глаза и ждать, пока зазвенит в ушах. И тогда вспоминать все, что случилось за день. И судить, как будто не себя, а кого-то другого...

Может быть, с той поры она научилась прислушиваться к себе, к той струнке, которая никогда не звенит фальшиво — вот как сейчас, когда она звенит, и, значит, Майя права. Все равно права, что бы ни думали мама и Валька. А ведь он должен бы уж приехать. Он — и Сева. И писем давно нет. Не случилось ли что?

Но Майя отмахнулась от этой мысли — не хотела, боялась сейчас думать о несчастье, обо всем, что могло бы помешать им. В конце концов экспедиция — не курорт, там писать некогда. А то и неоткуда. Приедут, приедут мальчики, живы и здоровы.

Приедут — что же тогда будет?

Причесываясь у зеркала, Майя механически делала все, что полагалось, уложила волосы, подкрасила глаза. Как это бывает, она видела и не видела себя. Знакомое лицо, отраженное в зеркале, не трогало ее, словно было чужим, как лицо человека, не вызывающего любопытства, которого каждое утро встречаешь на автобусной остановке.

Закончив свой туалет, Майя отодвинулась от зеркала, чуть повернула голову и бросила последний, оценивающий взгляд. Все в порядке. Пожалуй, даже хорошо. Но нужно было сделать усилие, чтобы выйти, встретиться с матерью, сказать ей, и Майя медлила. Лицо, в которое она теперь вглядывалась, было словно чужим. Оно завораживало и притягивало. И чем пристальнее Майя всматривалась, тем больше вместе с привычным в нем открывалось что-то новое, неизвестное, вызывающее острый интерес.

Какая же я?

Крупные черты лица. Скулы слегка выдаются. Большой рот, большие, чуть продолговатые глаза, с тенью от густых ресниц. Темные волосы с прядью, спадающей на лоб. Если поднять и немного повернуть голову, видна легкая и чистая линия лба, подбородка, шеи. В темно-карих глазах мерцает непонятная глубина. Что там, в этой глубине?

Допустим, это — не я. Что-то, пожалуй, есть в этом лице, какая-то необычная привлекательность. Нет, другое, притягивающее, даже не скажешь — что.

«Так это — я? — подумала Майя. — Какая же я? А вдруг Юра придумал меня? И я совсем не такая, какой ему кажусь?»

Ей стало страшно. Наверное, я самая обыкновенная. Почему он тогда замолчал, ушел в себя, как будто что-то захлопнулось? Не то, не так сказала? Неужели во мне есть такое, что может обидеть его? Какая же я?

Ох, как хорошо было бы сейчас вернуться к тем временам, когда нечего было бояться в себе, и не надо было придумывать никаких оправданий. А вот Сева не женится до конца дней своих, подумала Майя.

Она вдруг почувствовала себя такой усталой, будто живет долго-долго, и все уже было давным-давно, и июньский дождь, и разговор с матерью, и возвращение Севы с Валькой, и эти мысли у зеркала...

Это все зеркало. Как наваждение. Сейчас, именно сейчас, в эту минуту, ей нужно было видеть Юру. Его лицо, глаза, руки. Стоило бы только увидеть его, услышать голос,— как все прошло бы, и тревога, и сомнения, и усталость.

Кофе уже был на столе, когда Майя, одетая и причесанная тщательнее, чем обычно, вышла на кухню. Полина Александровна ждала ее. Все было готово — и омлет, и гренки, только снять с плиты.

— Не торопишься?— спросила Полина Александровна.

— Я — дома. Целый день.

— Как хорошо. А вдруг они сегодня нагрянут? С Валей такое случилось.

— Да, да, спасибо,— рассеянно ответила Майя.

— Что-то произошло?— только необычная, тревожная интонация вопроса дошла до сознания Майи.

— Прости, я не расслышала.

— Что случилось?— мягко повторила Полина Александровна.

Случилось. Если бы ты знала... Но все равно узнаешь. Сказать сейчас? Майя взглянула на мать. Лицо матери было бледно-серым. Вокруг темных глаз, казавшихся особенно глубокими, как всегда у людей с постоянной, невысказанной печалью, обозначились коричневые круги. Две глубокие морщины легли вдоль щек — а она и не замечала раньше этих морщин. Когда они появились? Да знает ли она вообще, что творится в душе матери? Хотя бы когда-нибудь спросила о том, что тревожит ее?

Полина Александровна по-своему расценила взгляд Майи и ответила на него подбадривающей улыбкой.

— Нет, нет... Ничего,— поспешно сказала Майя.— А ты... Ты сегодня плохо спала?

Позвонить Юре, сказать, что все отменяется. Или — переносится?

— Я, знаешь ли, всегда сплю неважно... Да ты пей, пока горячий,— словно извиняясь, быстро проговорила Полина Александровна. Она помедлила.— Пожалуй, сегодня позвоню в министерство, узнаю, что-то долго нет от них писем... Нет, нет, я уверена, все в порядке. Скорее всего, они в пути. Позвоню просто так. Мало ли что — изменились маршруты, новое задание...

Говорила так, словно убеждала себя сама. И ночь не спала. Вот они, откуда эти круги под глазами. И морщины. А вдруг и правда с ними что-то случилось? Позвонить Юре?

— Пойду к себе,— помолчав, сказала Майя.— Немного займусь.

Она встала, словно раздумывая, что ей делать.

— Да, совсем забыла (Майя была уже у порога, и Полина Александровна не видела ее лица)... Я тут пригласила одного товарища к обеду, так что не пугайся... Нет, ничего не нужно, что есть, то есть. А к чаю я кое-что купила, посмотри в шкафу.

Майя вышла. Как-то слишком поспешно. Будто убегала. От чего? От расспросов?

Полина Александровна допила свой кофе, посидела еще немного и, вздохнув, начала неторопливо мыть и убирать посуду.

## 2

Выйдя на улицу, Юра замер — такой ослепительный свет ударил в глаза. Он прикрыл лицо перчаткой и постоял немного, привыкая к этому сильному, ровному сиянию.

Кругом было бело. Снег лежал на земле, на крышах, на деревьях. Верхний тонкий слой изморози сверкал и искрился на солнце. Небо тоже сверкало, чистое и высокое, и в воздухе дрожали радужные блики. Ну и денек! Выпал снег, первый снег, а он и не заметил, когда это произошло — полночи стучал на машинке, все шло хорошо, пока вдруг не застопорилось, и Юра почувствовал, что пора кончать. Но заснуть долго не мог, курил, старался думать о всякой всячине — о том, как отвертеться от командировки, где раздобыть денюжат до ближайшего гонорара. Но как Юра ни старался погрузиться в свои будничные заботы, одна мысль постоянно напоминала о себе: завтра я иду к ней. Завтра все окончательно решится. Войду в ее дом. Она мне откроет дверь, потом представит своей маме. Такая замечательная старушка, со следами былой красоты. И я все скажу — найду единственные, безошибочные слова.

Но как все это произойдет и что будет дальше — он уже не мог представить себе. Не мог — потому что это требовало напряжения, а все его силы сосредоточились на одном. Мысленно он видел Майю. Только ее. Смеющуюся. Встревоженную, когда какое-то облако находило на нее. Бегущую к нему. Сидящую напротив него за столом... Удивительно, в памяти возникали, казалось, давно забытые, но, наверно, самые лучшие минуты его жизни. Тогда он еще не знал Майи, но все равно именно в эти минуты она была с ним и разделяла его радость, потому что без нее все это просто не имело смысла, да и, вероятно, не вспомнилось бы.

Мы идем и идем по воде, а вода все не поднимается, и полоска песка сзади и люди там, на пляже, становятся все меньше. Горизонт в серовато-голубой дымке отдаляется, и от блеска воды рябит в глазах. Мы держимся за руки, потому что на дне попадают камни.

Майя смеется — просто так, от сияния воздуха и теплого солнца, и от тихого ветра, который едва шевелит волосы. Песок под ногами мягкий и прохладный. Когда Майя оступается, я сжимаю ее руку и смотрю на нее, у меня холодеет в груди от страха, что все это сейчас кончится...

— Дойдем до тех камней,— предлагаю я,— до самого горизонта. Там можно поплавать.

— До самого горизонта,— как эхо повторяет Майя.

Камни — далеко. Они еле видны, темные пятна среди серовато-белых бликов. Мы идем и идем, и все это не кончается.

— Господи,— говорит вдруг Майя,— я же грешница, за что мне такое?

Ну, да — наверно, так она бы и сказала. И все было бы так. А тогда не было Майи, и до камней он дошел один и потом забыл об этом. Но теперь это будет. И будет Средняя Азия, и неправдоподобно синее, густое, высокое небо, и мавзолеем Исмаила, весь из пенных, каменных узоров, такой легкий, будто он остановился в полете над землей, и вечера вдвоем, когда он будет работать и чувствовать, как она что-то делает, ходит по квартире...

В нашей квартире, подумал Юра. Вот только комната, в которой он живет, для этого не годится. Запыленная. Загроможденная книгами — чтобы найти ту, что нужна, надо потратить полдня. Полное запустение. И все — не так. Ни одной красивой вещи, которая радовала бы, чтобы от нее было светлее.

Юра посмотрел на небольшую картину, висевшую справа от письменного стола — подарок знакомой художницы. Молнии на черном небе. Много разных молний — зеленых, красных, желтых, фиолетовых. Они сталкиваются, вспыхивают, гаснут.

Когда-то этот холст, грубо натянутый на подрамник (так он висит — без стекла и рамы), — ему даже нравился. Неожиданной символикой, смелым сочетанием цвета.

— Живи с молниями,— полушутливо сказала художница, ставя подрамник на пол, против окна.

Теперь под слоем пыли краски поблекли и потускнели, молнии не сверкали и не гасли, и, может быть, поэтому весь замысел казался вымученным, претенциозным. Как он не замечал этого раньше?

А он сам — разве не придумывал себе то одно, то другое? Наверно, со всеми так — мечешься, что-то выдумываешь, пока не придет время, когда вдруг поймешь, что тебе нужно. Необходимо. Как глоток воды. И тогда все освещается по-другому — ясно, чисто, резко.

Юра снял картину и отнес ее в чулан. На том месте, где она ви-

села, обозначился светлый прямоугольник. Ладно. Пусть так. Надо же с чего-то начинать.

Ну, вот. А завтра я иду к ней,— подумал Юра. Если, конечно, ничего сверхнеобыкновенного не случится. А если случится?

Заснул Юра под утро. И встал поздно. Долго мылся, одевался, перемерил все белые рубашки, какие были. Но все равно до обеда оставалась целая вечность. Время ползло, как скрипучая телега по степи, запряженная старой клячей. Смотреть на часы стало невыносимо. И Юра, назло времени, тоже стал еле двигаться, медленно курить, пуская замысловатые кольца дыма, лениво листать журналы; потом, все же поглядывая на часы, затеял легкую приборочку на письменном столе... Наконец, он дождался минуты, когда можно было выходить из дому.

...Теперь он стоял у подъезда и, жмурясь, прикрывая глаза перчаткой, смотрел на снег, на ребятишек, которые, визжа от восторга, барахтались в сугробах, таких невероятно белых и легких, словно там внутри был воздух. От солнца, голубовато-белого блеска и чуть колющего горло воздуха у него закружилась голова. Ну и денек — сколько таких дней прошло мимо него? Вечно в спешке, в редакционной суете. Командировка сокращается до минимума, работа над материалом — хватит и дня, ночь по своему усмотрению. Скорей, скорей. В номер, чтобы газета с этим материалом выступила раньше других. Скорей, скорей... А ему хотелось, как и всем спецкорам, не торопясь поработать над статьей, очерком, найти неожиданный ход, отточить фразу, сказать то, что не говорили до него другие... Урывками, по ночам, в отпуске, в те редкие дни, когда голова была свободна от редакционных заданий, он писал рассказы, так, как хотелось, для себя. Многие из написанного потом не нравилось и засовывалось подальше, помнились лишь эти часы лихорадочного возбуждения за столом. Все казалось в те дни ясным, резким, крупным, словно пододвинутым к нему.

Сейчас Юра вдруг снова подумал об этих рассказах — надо бы их перечитать, почистить, отобрать. Надо бы — да все нет времени. Да нет, чего там — дело не во времени. Просто он погряз в суете, в текучке. А ведь пора бы уже жить по-другому. Не мальчик, слава богу, за тридцать. Майя не знает, какой я тип, вдруг подумал Юра,— а я толком даже не рассказал о себе — все отмалчивался... Но она должна знать все — и ту историю с фельетоном, и многое другое. Какой есть, такой есть.

С Юрой и раньше бывало, когда на него нападал стих саморазоблачения, но теперь он принялся за дело с какой-то особой, беспощадной яростью. Что-то менялось в нем, и он чувствовал, что у него хватит силы на все. И все, что предстоит сделать, удастся и получится, надо только захотеть. И с рассказами тоже. Отберу и покажу Пет-



ру Васильевичу, решил Юра. В конце концов, не съест его старик. Маститые — они тоже люди.

Пока он шел, уже не замечая ни дороги, ни снега, ни солнца, сама собой выработалась целая программа на ближайшие дни. Прежде всего: съездить к матери в Пензу. После смерти отца она жила одна, хворала и писала ему коротенькие письма, в которых изо всех сил старалась не показать, как ей одиноко. А он-то хорош — за последние полгода был на Байкале, в Астрахани, в Свердловске, а в Пензу не собрался. Не хватало времени. Был занят. Важные дела. Занятой человек.

Но теперь все будет по-другому.

— Мама, это Майя. Видишь, какая Майя?

Но прежде они пройдут по дорожке от калитки к крыльцу и венником отряхнут ноги от снега, и потом он нажмет кнопку звонка, который сам когда-то провел. И им откроет мать, потому что больше некому открыть. Она все поймет сразу, и будет суетиться, и тайком поглядывать на Майю, и называть ее на «вы», и не решится ее поцеловать.

А Майя будет открывать для себя этот дом на окраине Пензы, такой старый и маленький, где все сделано руками отца. И рассматривать фотографии на стенах — там вся родня, ближняя и дальняя, и все — почему-то с удивленными лицами. И пока мать будет хлопотать у стола, Майя начнет перебирать книги, разрозненные тома старых и новых изданий по истории и всяческие исторические романы — любимое чтение отца. Он всегда читал за столом — окно было от него справа, и Юра, возвращаясь вечером домой, видел его склоненную голову, освещенную розоватым светом от абажура.

А ведь она, наверно, и не представляет себе, что бывают такие дома, с низенькими потолками и маленькими комнатами, с такой тишиной и ковриками на крашеном полу и самодельными приемниками и самыми неожиданными книгами...

Юра проснулся, как ему показалось — от тишины. Так было тихо. Он подумал, что уже поздно, все ушли из дома, и торопливо оделся. Но будильник показывал без четверти пять. Юра вышел на крыльцо. Было светло и прохладно. И будто еще тише, чем в доме. С крыльца было видно, как над рекой клубился и рассеивался туман, и сквозь него пробивались золотистые лучи.

Солнце только всходило, и белые облака тумана становились все тоньше, наливались голубоватым светом.

Юра пошел по дорожке, стараясь не задеть мокрые от росы, застывшие кусты сирени и ветки деревьев. Нагнулся, поднял камень

и увидел замерзшую за ночь пчелу. Она отогревалась под первыми лучами и уже начала шевелиться. А навстречу ему, вся вытянувшись, покачивая рогами, ползла улитка. Она легко и ловко тащила свой панцирь. И так уверенно, так степенно шагала, покачивая рогами, будто шла в гости.

С аэродрома с ревом взлетел самолет. Сильно и плавно он вонзился в небо, сверкнув серебристым силуэтом. Юра осторожно за панцирь взял улитку, и она сразу спряталась — Юра даже не успел заметить, как это произошло. Он положил скорлупку на траву, но улитка и не думала показываться. Наверно обиделась, что так грубо прервали ее прогулку.

Пискнула первая птичка, вторая... Пробежал ветер — зашумела листва. А солнце только поднималось — прошло всего несколько минут... И Юра вдруг почувствовал, какой долгий, большой день впереди...

...А ведь такое утро — это тоже его маленький дом с крашеными полами на окраине Пензы, и рассуждения отца о Сергии Радонежском и протопопе Аввакуме, и родственники с удивленными лицами на фотографиях, и мать, которая при нем всю жизнь называла отца по имени и отчеству.

Поймет ли это Майя? Поймет ли этот дом и все, что он дал ему, или только увидит невзрачные окна с горшками герани, скрипучие половицы и выцветшие фотографии на стенах?

Хочу, чтобы ты была счастлива. Как просто. Чтобы ты была счастлива.

Юра идет, все убыстряя шаг, и неожиданно оказывается у ее дома.

Тяжелая, массивная дверь. Широкий лестничный пролет. Скоростной лифт. Но он ни к чему. Четыре этажа — пустыки и без лифта.

\* \* \*

— Мам, это — Юра.

Он стоял в передней, высокий, худой, раскрасневшийся от мороза, и мял в руках шапку. Как только переступил порог, он сдернул ее с головы.

— Мама, это товарищ, о котором я тебе говорила. Из нашей группы. Мы решили позаниматься, — вот как должна была представить его Майя. А она сказала: это — Юра. Как будто два эти слова все объясняют.

— Проходите, — сказала Полина Александровна и, не дожидаясь, пока гость разденется, ушла в комнаты.

В сущности, все просто, — подумал Юра. — Никакой торжествен-

ности. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Потом вас будут рассматривать. Вы из одной группы с Майей? Ах, вы уже кончили? Давно... А я полагаю... Вы так молодо выглядите.

Замечательная старушка со следами былой красоты. Какой бред. У женщины, которая сказала — проходите, было усталое лицо с большими прекрасными глазами, седина...

— Ну, что же ты? Снимай пальто. Не могла дождаться.— Майя прижалась щекой к воротнику Юры, и все страхи его испарились.

— А я и не буду искать слова,— сказал Юра.

— Какие слова?

— Просто скажу: я беру ее в жены и до конца дней своих буду беречь и защищать ее, ибо жизнь моя принадлежит ей. И еще скажу: слабость моя превратится в силу, робость в мужество, а сомнения в твердость, потому что она будет рядом со мной,— что-то сделалось с голосом Юры и он поспешил добавить: — Обязуюсь также чистить картошку, если потребуется, а то и вытирать посуду — иногда. Мыть, пожалуй, слишком. Вытирать. А теперь я готов разговаривать с тремя мамами сразу.

— Хватит и одной,— сказала Майя. Она даже не улыбнулась. Словно не слышала последних слов. Лицо ее было напряженным, будто она все еще прислушивалась к тому, что вырвалось у Юры — и до конца своих дней... Как клятва. И вдруг опять ей стало страшно:

— Ты придумал меня. Я не такая. Самая обыкновенная. Эгоистка. У меня есть только одно: ты...— Майя была готова невесть что наговорить на себя, но Юра прервал ее:

— Не надо.

— С мамой я сама. Ладно?— Майя помедлила.— Мне еще нужно рассказать тебе кое-что... Пойдем.

Они прошли через большую комнату и оказались в узком коридорчике. Майя открыла дверь:

— Вот и моя светелка.

Тахта, стол у окна, книги. Скорее кабинет, чем светелка. Только оглядевшись, Юра заметил в углу маленький туалетный столик с зеркалом.

— Когда папа был жив, это была комната Вальки. А я спала в большой. Потом Валька перешел в кабинет папы. А я — сюда. Так здесь все и осталось...

Майя замолчала, и Юра сказал:

— Расскажи о своем отце.

— Мне было двенадцать, когда отец погиб. Он был летчик-испытатель. Всю войну прошел, а погиб через пятнадцать лет после войны. Вот как бывает...

Юра ждал. Может быть, не следовало спрашивать об этом? Но Майя, словно угадав, о чем он подумал, сказала:

— Нет, нет. Ничего...

Она села рядом с ним и, как всегда немного снизу, чуть подняв голову, взглянула на него, потом взяла его руку:

— Тебе трудно понять, что значил отец для всех нас. И я даже не смогу объяснить... Хорошо помню этот день, такой тихий, солнечный. Мы с мамой шли с речки. Я разбила колено, было больно идти, и мы смеялись, когда я прыгала на одной ножке. А потом увидели у нашей калитки машину и двух военных. Мама побежала к ним и вдруг закричала и почему-то бросилась в дом.

Закрою глаза — и вижу этот день, облака над рекой, зеленую изгородь, распахнутую калитку, машину, и как мама бежит в дом...

Еще помню его руки, когда он что-то мастерил, чинил мне игрушки, голос, а вот лицо не могу представить... И как потом ни ждала, отец ни разу не приснился...

— Мой отец был бухгалтер, а попросту, наверно, счетовод, тихий человек, большой любитель чтения, — сказал Юра, помолчав. — А на войне «языка» привел, получил медаль «За отвагу». Вернулся и стал работать на прежнем месте. Даже обидно было — как же так, пришел с войны победитель, честно воевал и ничего, ровным счетом ничего в его жизни не изменилось... Отец посмеивался: ты чего хотел, чтобы я генералом стал? Мы просто сделали свое дело...

Хотел бы я вот так, как отец, — неожиданно оборвал себя Юра, — только не получается. Да что там, раньше даже и не думал о таком. Все было ясно, выходило само собой — университет, газета, товарищи. Так, наверно, и не задумался бы — что к чему и что почем, пока не произошла одна история.

— История? — Майя прижалась щекой к плечу Юры, голос ее донесся словно издалека, так тихо она сказала: — Ты почти ничего не рассказывал о себе. Иногда мне кажется, знаю тебя всего, даже то, о чем ты подумаешь, а иногда...

— Что ж, это стоит того, чтобы рассказать. Я и сам хотел. Понимаешь, не случилось бы этого, было бы другое, похожее. А в общем, обыкновенная история. Случай из практики.

Юра замолчал.

— Ну, что же ты? — Майя совсем близко придвинулась к нему. — Только с самого начала. Чтобы я все поняла.

— Поймешь, — сказал Юра и усмехнулся. — Только и вправду надо с самого начала... Представь себе спецкора областной газеты, эдакий московский журналист сразу после университета.

— Представляю. И даже очень хорошо.

— Не совсем. Ну, во-первых, ему море по колено, потому что в любой момент может сорваться. Во-вторых, более или менее прилично пишет. Поднабрался кое-чего в столице да в университете. В-третьих? Рубаха-парень. Ну и еще — как говорят, острый газетчик.

Печатается, сколько хочет. А тут еще повезло — и пара его фельетонов наделали шуму в городе. Кого-то сняли, кому-то дали нагоняй. Словом, наш спецкор заработал репутацию бесстрашного воителя за правду, которого даже стали побаиваться...

Но вся штука в том, что ему действительно казалось, будто такой он и есть на самом деле.

До того дня.

Юра вполуха слушал человека, сидящего напротив него. Он лениво смотрел в окно на пыльную, пустую, раскаленную зноем улицу. Прошла женщина, придерживая платье и закрываясь другой рукой от вихря пыли, которую гнал ветер с реки.

Все, кто мог, ушли купаться и оставили Юру дежурить в редакции, благо в номере стоял его материал. Сколько времени ему еще торчать здесь? Номер вел сам редактор, человек, прямо скажем, вьедливый, читающий каждый оттиск — перспектива, следовательно, была не из радужных.

— Разве вы не понимаете, какое значение это имеет для него? — говорил посетитель. — Вы молодой человек, у вас все впереди, а он завершает жизнь.

Завершает жизнь — сильно сказано. Юра впервые за время разговора взглянул на этого человека. Лет шестьдесят, может, с хвостиком. Одет аккуратно, в темно-серый костюм, не без претензии на несколько старомодную элегантность. Белая рубашка. Бабочка, несмотря на жару. Худощавое лицо. Седина, правда, изрядно поредевшая...

Все ясно. Старый актер. Лев провинциальной сцены. Ампула — благородный отец или старый честный специалист-интеллигент. В современных пьесах — ученый, понимающий стремления молодежи.

— Позвольте представиться еще раз, — сказал он, почувствовав, что, наконец, Юра проявляет подобие интереса к нему. — Вы были чем-то отвлечены. Я понимаю... Моя фамилия Ков'ецкий. Леонид Сергеевич.

Ну, конечно, так и есть. Знаменитый в Красногорске Ковецкий, недавно ушедший на пенсию. Тот самый, которого, как говорят старожилы, не раз приглашали в Художественный театр, но он предпочел родной Красногорск.

— Я друг Ивана Павловича Замошкина, директора нашего театра. Не скрою, мне известно, что в редакции есть статья о нем. И я просил бы вас выслушать меня.

Ах, вот оно что. Выслушать. Но дело-то ясное. Ваш друг Иван Павлович ухитрился получить всяческих дефицитных стройматериалов несколько больше, чем ему требовалось на ремонт театра. Оста-

ток же — и довольно солидный — пошел на достройку дачи главного режиссера театра. Что и с полной очевидностью установлено работниками ОБХСС. А фельетон на сей счет (не статья, как вы изволили выразиться, а фельетон) вашего покорного слуги под названием «Крез на Парнасе» стоит в номере. И никакая сила его не снимет. Вот что следовало бы сказать обаятельному Ковецкому. Но Юра не сделал этого — не полагалось. Да и что-то в облике и поведении старца удерживало его от этих прямых, обидных слов. И еще — было жарко и душно, а такой разговор требовал сил.

Юра сказал: я вас слушаю.

Ветер за окном, кажется, улегся, но зато зной усилился. Сейчас бы кваску со льдом (квас со льдом он считал собственным изобретением, которым очень гордился).

— Дело в том, — продолжал Ковецкий, — что Иван Павлович не знал, куда пойдут излишки стройматериалов.

— Вот как? — искренно удивился Юра. — А сколько требуется этих самых стройматериалов для ремонта, он тоже не знал? Если не ошибаюсь, театр ремонтируется чуть ли не каждый год. — Старец просто начинал его забавлять. Неужели он думает, что газетчика можно провести такими штуками?

— Ивану Павловичу позвонило одно известное лицо из вышестоящей инстанции и попросило проставить в заявке именно эти цифры, — хорошо поставленный голос Ковецкого звучал ровно, ни тихо, ни громко. Как и требовалось в данном случае. В нем появилось даже что-то эпическое. — Да-с. В ответ же на протесты Ивана Павловича по поводу завышенных цифр ему было сказано, что это его не касается, так надо ради дела, оформление бумаг пусть его тоже не беспокоит. От него требуется заявка. Только заявка.

— Известное лицо из вышестоящей инстанции, разумеется, инкогнито, как в «Ревизоре»? — спросил Юра. Вот деталь, которая могла бы обогатить материал — к нам звонило высокопоставленное лицо, да еще инкогнито! Неплохо. Жаль, что он не знал этого раньше.

— Нет, не инкогнито, — зло сказал Ковецкий. — Его фамилия будет фигурировать в деле.

— Но доказательства, тем не менее, что оно звонило, нет?

— Нет. Какие же могут быть доказательства?

— И это — все? — спросил Юра.

— А вам этого мало? — вдруг срывающимся голосом закричал Ковецкий. — Я по вашему лицу вижу, что вы не поверили ни одному моему слову. Вам легко допустить, что два человека с седой головой лгут! Откуда, откуда это недоверие, эта черствость души! — Ковецкий встал и, с треском отодвинув стул, пошел к двери. У порога остановился: — Неужели даже и сомнения у вас нет, а вдруг вы

оклеветаете честного человека? Почтенного, тридцать лет прослужившего в театре. У него дети взрослые. Внуки!

— Факты — упрямая вещь, — заметил Юра. Он с трудом сдержался, чтобы не сказать: отлично сыграно. Bravo, bravo.

— Разумеется, факты на вашей стороне. Вам лично ничего не угрожает, — Ковецкий овладел собой и вдруг проговорил с сожалением. — Эх, молодой человек, как же вы жизнь-то свою проживете? Плохо начинаете. Плохо.

Он вышел, тихо прикрыв дверь.

Что-то шевельнулось в душе Юры. А может, и в самом деле было так — приказали бедному директору, нажали, а сами в кусты? Допустим. Но Иван Павлович — не мальчик. Тридцать лет работает в театре. Небось тертый калач. Знает, чем это пахнет. Сомнительно, чтобы он мог клюнуть на такую дешевку, даже если и боялся ссориться с начальством. А с другой стороны — неопровержимые данные. Ребята из ОБХСС поработали, как надо. Ничего не скажешь.

Так-то оно так... Но вдруг Ковецкий говорил правду? И был прямой приказ. Хотя и незаконный, но все-таки приказ. А сам директор в махинации не участвовал? В таком случае, фельетон нужно было снять с номера, отложить, все начинать сначала.

Слишком хлопотно. Старик мог и сыграть ради друга. Играл же он Полония.

Вошла Лида, девятиклассница, работавшая летом курьером, и принесла свежую, влажную, с мажущейся краской полосу.

«Крез на Парнасе» с подзаголовком — фельетон — был разверстан высоким подвалом. Он стоял очень красиво, сразу бросался в глаза крупным заголовком и фамилией автора снизу. Ах, эта фамилия — всего семь букв, как нот в гамме. А ведь из этих семи нот создаются симфонии. «Крез на Парнасе». Сенсация воскресного номера. Разговоров на неделю в целом городе. Звонки знакомых. Поздравления. Снять сейчас этот фельетон было просто глупо. А к тому же для этого потребовалось бы пройти через весьма неприятный разговор с главным. Так, так — ставите непроверенный материал? Ну, что ж, снимем. Задержим газету. Но наперед будем знать...

Юра взял карандаш. Сейчас он подпишет — и все будет конечно. Леонид Сергеевич Ковецкий стоял у порога вполоборота к нему: плохо начинаете, молодой человек, плохо.

— Изыйди. Сгинь, нечистая сила, — сказал Юра. Собственно, видения никакого не было. Это Юра сказал так, для порядка. Он еще успокоил себя: какой актер, как сыграл!

— А потом? — спросила Майя.

— Потом, когда фельетон был напечатан, Иван Павлович слег. Тут-то все и началось. Ко мне пришли его сыновья, один инженер,

которого хорошо знали в городе, другой студент. Они требовали опровержения.

Дополнительного расследования потребовали почти все актеры театра, и было точно установлено — во всей этой истории (кроме его злополучной заявки, конечно) директор не принимал никакого участия. Он даже не знал, куда пошли излишки стройматериалов.

Видимо, Ковецкий был прав. И со временем я убедился в этом. Но в том-то и дело, что опровержения газета дать не могла. Факт оставался фактом — документ, подписанный директором, излишки, которые пошли на строительство частной дачи.

Я добился того, чтобы меня пустили в больницу к Ивану Павловичу, куда он попал после тяжелого сердечного приступа.

Не забуду его лицо, когда я вошел к нему в палату...

— А-а, это вы, — сказал он, — вот вы какой. В сыновья мне годишься. — Он закрыл глаза и проговорил: — Что же вы сделали? — И опять повторил: — Что же вы сделали? Как же теперь? Я — обыкновенный человек, — сказал он потом, — есть люди с талантом, есть удачливые, деятельные, а у меня было только одно — честное имя...

— Понимаешь, — медленно проговорил Юра. — Он напомнил мне отца. Как и мой отец, он просто делал свое дело. А я зачеркнул всю его жизнь. Взял и зачеркнул. Одним махом. Из-за подписи под подвалом. Поздравлений. И самой обыкновенной трусости — испугался неприятного разговора с главным.

— Ты как Валька. Как мой Валька, — сказала Майя и коснулась пальцами его волос. — Послушай, Юра, а ты... Знаешь, может быть, сейчас я делаю то, что ты тогда, с этим фельетоном. Я ведь чужая невеста, и он будет несчастлив. Всю жизнь. Я знаю.

— Нет, это другое. Совсем другое, — сказал Юра. — Понимаешь, то, что тогда произошло, уже невозможно было поправить. И я должен жить с этим. Всю жизнь.

— И я тоже. Буду знать, что он несчастлив. Всегда буду знать. Ну, скажи, скажи — как мне поступить?

— Разве ты не решила?

— Решила. Но теперь, когда ты мне рассказал... Ты как Валька, — снова повторила она, — а если ты из-за этого переменишься ко мне?

— О чем ты говоришь? Все равно ты не смогла бы лгать. И все рухнуло бы, как только ты поняла бы себя.

— Теперь мне ничего не страшно, — сказала Майя. — Я тебя никому не отдам. Только уедем как можно скорей. Увези меня. Все равно — куда. Обещаешь?

— И я тебя не отдам. И мы уедем, — у Юры перехватило дыхание от запаха ее волос, от звука голоса, от того, что она была так близко. — Уедем хоть завтра. Куда хочешь — хоть к черту на рога.

...Теперь, сидя за столом в большой комнате напротив Полины



Александровны и справа от Майи, Юра про себя повторял фразу, которую должен был сейчас сказать. Полина Александровна молчала. Свет из окна падал на ее лицо, оно казалось Юре замкнутым, отчужденным, и он все медлил. Молчание становилось тягостным, и Майя решилась.

— Знаешь, мама, лучше сразу. Мы с Юрой... Наверно, нам придется уехать...

— Да, да,— поспешил вмешаться Юра.— Мы уедем в Среднюю Азию. Самарканд, Хива, Бухара... Это совсем другой мир. Иногда кажется, что вот сейчас оживут древние караванные пути,— Юра словно подальше хотел отойти от этого слова «уедем»,— а в долинах — розы. В горах — звон ручьев, цветущие тюльпаны...

Что за чушь — тюльпаны, звон ручьев! Я люблю ее — и что бы ни происходило, она будет моей женой,— вот что надо было сказать. Но что-то удержало его — нет, нет, не трусость, лицо Полины Александровны. Может быть, он почувствовал: сейчас нельзя, не время?

— Туристский сезон,— тихо проговорила Полина Александровна. Она попыталась улыбнуться. Но лучше бы не пыталась. В ее лице вдруг мелькнуло выражение резкой боли, такой резкой, что она не смогла сдержать ее и поспешила опустить голову.

У Майи все оборвалось, и это на мгновение мелькнувшее выражение вдруг отозвалось ярким и острым воспоминанием — далеким и, казалось, забытым... Удивительно, что мама так и сказала — туристский сезон — и попыталась улыбнуться. Но лучше бы не пыталась.

...Это было в Феодосии позапрошлым летом. Вместе с ребятами из своей группы она ждала автобуса, чтобы уехать на турбазу, в спортивный лагерь. Они стояли на самом солнцепеке и, как всегда, острили и смеялись. Рюкзаки сложили в кучу, и Борис уже брэнчал на гитаре. Остановка была недалеко от рынка, мимо них, обливаясь потом, проходили люди с тяжелыми кошелками. А они пели свои песенки про костры, корабли, уходящие в неведомое; злых, бесстрашных, нежных капитанов; про ветер, который зовет в дорогу, и девушку, которая остается. Им было весело. Они пели и смеялись. Впереди были беззаботные дни, горы, море, ночные костры, крупные южные звезды, нависшие над головой,— им казалось, что все было создано здесь специально для них, веселых и бесшабашных туристов, и что все люди здесь разделяют их настроение, потому что дико и нелепо не радоваться солнцу, морю, своей силе и молодости.

Скоро должен был подойти автобус. Народу на остановке все прибывало. Здесь были старухи с темно-коричневыми, словно высушенными солнцем, морщинистыми лицами, женщины в белых плат-

ках с детьми и полными тяжелыми сумками, но больше всего «работяг», которые ехали на фабрику во вторую смену.

«Эти птицы накличат нам бурю. Но не страшен нам злой ураган...» — запел Борис, и остальные поддержали его.

Они стояли и пели. Потом Майя увидела, как к остановке подошла молодая женщина, а за ней старик в чистенькой белой рубашке с галстуком, в голубоватой соломенной шляпе, какие продавались в Феодосии в каждой палатке ширпотреба. Старик бережно вел за руку девочку. Ему было трудно идти, но он крепился, и чтобы женщина не беспокоилась, даже наклонился к девочке и что-то говорил ей. Подошел автобус, и началась посадочная суета. Молодая женщина расцеловала старика и крикнула ему: «Папа, берегите себя». Старик приложил ладонь к уху, и она снова повторила: «Берегите себя, папа». Она еще что-то кричала, и старик кивал головой, и все смотрел на свою внучку, гладил ее волосы и, видимо, все спрашивал, не хочет ли она чего. «Не беспокойтесь, папа», — кричала дочка. А он все никак не мог выпустить руку своей внучки, смотрел на нее, будто хотел запомнить навсегда.

Наконец дочка решила и потянула за руку девочку. Они вошли в автобус. Старик остался на остановке — он смотрел на них и улыбался. И лишь когда автобус тронулся, на лице его вдруг проступило выражение острой боли, но он продолжал махать им рукой.

«...Но не страшен нам злой ураган», — неслось из автобуса.

«Нам, туристам, ничего не страшно», — с неожиданной злостью подумала Майя.

— Полина Александровна... — начал Юра.

— Да, да, догадываюсь, — Полина Александровна уже справи-лась с собой, как будто и не было на ее лице выражения острой боли, и голос звучал ровно. — Догадываюсь, — повторила она и, повернувшись к Майе, сказала: — Знаешь, я все-таки позвонила туда, в управление. Станный был разговор. Толком они мне так ничего и не объяснили. Либо сами ничего не знают, либо не хотят говорить — и что-то там случилось. С Валея. Или с Севой.

### 3

Они решили не дожидаться весны, звона ручьев и красных тюльпанов в горах, — решили ехать на днях. Как только появятся Валька и Сева. Как только Майе можно будет оставить мать. Несколько дней, чтобы Юре взять отпуск, а ей договориться в деканате. А потом сразу уехать. И, как сказал Юра, переждать бурю в гавани. Он не хотел

сказать ничего обидного. Но было именно так. Ей было страшно встретиться с Севой, и потом находиться под одной крышей с Валькой и мамой, или даже жить с ними в одном городе. Уехать — а там будь что будет.

В доме словно стало еще тише. Полина Александровна не заговаривала с Майей ни о Вальке с Севой, ни о Юре, не спрашивала, где он (Юра поехал к матери в Пензу на несколько дней), — может быть, надеялась, что Майя одумается, что это пройдет, как болезнь?

А Майя, набегавшись за день, приходила домой, садилась в свое кресло и думала, вспоминала. Днем она что-то делала (потому что должна была делать), слышала какие-то голоса; кому-то что-то говорила, потому что иначе было нельзя, и ждала той минуты, когда придет к себе в комнату, сядет в кресло. Останется одна. И будет думать о Юре. И никто не сумеет ей помешать.

Майя вспоминала улицы, по которым они ходили (никогда раньше она не знала, что в Москве так много неожиданных тупичков и маленьких прихотливо изгибающихся переулков), кафе, где они сидели, то место на углу Зубовской площади, где встречались. Она без конца, без устали думала о нем, легко переносясь из прошлого в будущее. Там, в будущем, они бродили по лесу, бежали под дождем, накрывшись одним плащом, принимали друзей Юры.

И сейчас, погруженная в свои мысли, она не заметила, как вошла мать, зажгла свет, села на тахту.

— Ты что, мама? — спросила Майя, очнувшись.

Полина Александровна не отвечала и все смотрела на Майю. Вероятно, она пришла что-то сказать, может быть, поговорить, но, почувствовав ее состояние, раздумала или не решилась.

— Ничего... Давай ужинать.

— Не хочется.

— Тогда ложись. Я укрою тебя.

Полина Александровна села у постели, погладила ее по голове:

— Ты заболела, это пройдет. Вот увидишь, пройдет. Только прошу тебя об одном — подожди.

Нет, мама никогда не поймет. Она жалеет ее. Осуждает и жалеет. Но разве можно жалеть счастливого человека, даже когда ему так трудно, даже когда неизвестно, что впереди? Разве ей понять такое, когда на тебя нападает страх, что все это снится и сейчас кончится?

В полутьме, будто издалека, Майя видела лицо матери, смягченные линии, прикрытые глаза, тонкую, худую шею — и она вдруг представилась Майе молодой, красивой, счастливой, какой она смутно помнила мать в детстве. Прямая, с пышными пепельными волосами, легко двигающаяся, смеющаяся. А ведь и мама была счастли-

ва, и у нее все было, подумала Майя. Она взяла руку матери и сказала:

— Расскажи мне об отце...

Пальцы Полины Александровны чуть дрогнули. Она долго молчала, словно перебирая в памяти прошлое, потом сказала:

— Хорошо. Расскажу.

...Полина сидела на скамейке в самом конце аллеи, которая вела к проходной. Там, за проходной, был другой мир — полетов, заданий, риска — мир, недоступный для непосвященных. Она ждала уже долго, дольше, чем обычно. Отсюда ей было видно, как взлетали и уходили в прозрачную синеву самолеты, как они снижались, кружили над аэродромом, шли на посадку. В воздухе, то нарастая, то стихая, стоял звенящий гул, и, казалось, листва на деревьях вздрагивала и осыпалась, когда летчики давали форсаж и все вокруг заполнялось ревом моторов. Но листья осыпались, потому что был август, сухой, почти безветренный, с чистым прохладным солнцем.

Только сейчас Полина подумала о том, что значит быть женой летчика — вот так ждать всю жизнь, и волноваться, и не знать ни минуты покоя, и не суметь помочь в трудную, может быть, последнюю минуту.

Костя появлялся всегда неожиданно, шумный, возбужденный. После полетов — пришелец оттуда, от него словно все еще пахло небом, и Полина никогда не знала, что он еще придумает в следующую минуту — так радовался он всему: что она с ним и будет с ним до самого вечера, и солнцу, и дождю, и товарищам, когда они все вдруг решали поехать куда-нибудь. Полине казалось, что время углублялось — бесконечно много вмещали в себя минуты и часы, когда Костя был с ней.

Полина ждала, смотрела на самолеты, идущие на посадку, пыталась угадать, какой Костин. Но самолеты садились, а Костя не появлялся.

Поднялся ветер. Гул моторов все чаще прерывался — полеты, видимо, заканчивались. Иногда становилось так тихо, что слышно было, как вздрагивала листва, успокаиваясь, когда ветер прекращался. Один самолет с ревом пронесся над аэродромом, круто взмыл, сделал круг, снова пошел на посадку. С земли взвилась красная ракета, запрещающая посадку, и самолет снова ушел вверх.

Теперь она неотступно следила за этим самолетом.

Летчик резко бросал его из стороны в сторону, круто набирал высоту, стремительно падал к земле.

Что это? Так надо или что-то произошло? Полина закрыла глаза, сосчитала до десяти, но самолет продолжал метаться — это бы-

до совсем непохоже на выполнение задания, во всех его движениях было что-то судорожное, тревожное.

Полине стало страшно. Нет, это не Костя, успокаивала она себя, не Костя.

Господи, помоги ему, шептала она в следующую секунду. Что, что я должна сделать, чтобы помочь этому летчику? Кого молить?

Она не могла сказать, сколько времени так продолжалось — минута, секунда, час. А самолет снова пошел вверх — теперь ровно и плавно он набирал высоту.

Добился ли летчик, чего хотел, или там, в небесах, один на один со своей судьбой он должен был искать ответа — как поступить?

Неожиданно самолет появился с другой стороны. Медленно, осторожно он снижался, видимо, шел на посадку.

И вдруг Полина услышала вой сирены — неужели санитарная машина мчалась к тому самолету?

Полина побежала к проходной. Молоденький солдат, как будто ничего не произошло, остановил ее.

— Там мой муж, Костя, пустите меня...— просила Полина. Она не помнила, что еще говорила этому солдату, почти мальчику, с суровым, нахмуренным лицом. А он, стараясь не смотреть ей в глаза, твердил одно и то же:

— Не положено. Не имею права. Не положено.

Но все-таки взял телефонную трубку, что-то спросил, что-то сказал и вдруг повернулся к ней, широко улыбаясь:

— Жив ваш муж. Жив-здоров. Сейчас выйдет.

Полина не помнила, как подхватил ее Костя, понес на руках по аллее, посадил на скамейку, ту самую, где она ждала его, сел рядом с ней и принялся вытирать слезы, а она и не замечала их.

— Ну что ты, глупая... Видишь, вот я. Собственной персоной. Жив и невредим.

— Не отпущу тебя больше. Не отпущу,— глотая слезы, говорила Полина.

— Ну, конечно. На этом поставим точку. Будем ловить рыбу. Или разводить пчел. И пить медовуху. Я тебе покажу, как качают мед. Ты будешь качать мед и учить окрестных детей...

Понемногу успокаиваясь от звука его голоса, она спросила:

— А ты умеешь разводить пчел?

— Умею. У деда была маленькая пасека. Ты знаешь, когда качают мед, полагается всех угощать. Приходят косцы. Ребятишек — всех, сколько ни набегит. И каждому наливают по кружке пахучего меда. А он жидкий и теплый, как парное молоко. Пей — сколько хочешь!

— А я боялась пчел,— сказала Полина,— но теперь не буду.

— Теперь тебе нечего бояться, раз ты моя жена,

— Жена?

— Ты же сама сказала в проходной, что жена. Остается только пойти в загс. А то еще раздумаешь...

...Потом, когда они вышли из загса, Полина спросила:

— А где мы будем жить?

В самом деле, где? — Костя жил в военном городке, в комнате вдвоем с товарищем, а Полина — в общежитии Педагогического института.

— Комнату мне дадут,— сказал Костя,— а пока... Поехали гулять! Устроим свадьбу без гостей...

В тот день Полина так и не узнала от Кости, что же случилось с самолетом. Позже он рассказал, что-то заклинило, и шасси не выпускалось. Он пытался их раскатать и выбросить динамическими ударами, но ничего не получалось. И бензин был на исходе. Оставалось либо выбрасываться с парашютом, либо садиться «на пузо». Решил садиться.

— А это опасно?— спросила Полина.

— Как сказать... Если чуть не рассчитаешь угол, скорость, ветер и прочее — от самолета останутся щепочки. Но в общем — посадить-то можно...

Это он рассказал позже. А в тот день после ресторана они поехали в парк и катались на лодке, и Полина видела лицо Кости, когда он греб, взмокшие волосы, капельки пота на лбу, и прищуренные от солнца глаза, и она ни о чем не думала, только хотела, чтобы лодка шла еще долго, и так же скрипели уключины, и пригревало солнце, и в воде отражались облака, и только смотрела, как Костя греб, обдавая ее холодными брызгами, когда срывалось весло. Потом они купались, гуляли по саду, и пили воду, и ели мороженов. И Костя читал стихи — те, что у всех на слуху, и самые неожиданные. И это был долгий день...

Уже светало, когда они остановились перед подъездом общежития, где жила Полина.

Костя обнял ее, близко заглянул в глаза:

— Даже не верится. Ты — моя жена...

— Будь осторожен, там, в воздухе... Ладно? Обещаешь?— проговорила Полина.

— Обещаю,— засмеялся Костя.— Торжественно клянусь!

У Полины вдруг сжалось сердце — словно от предчувствия далекой беды. Она навсегда запомнила: зыбкий утренний свет начинающегося утра, тишину, четкий стук каблучков одинокого прохожего, смеющееся лицо Кости и его слова — торжественно клянусь! — как будто в эту минуту прочитала свою судьбу.

Мать уже давно ушла, но Майя не могла заснуть. Лежала с открытыми глазами, думала. Она словно ощутила шум и живые голоса того далекого времени. Они были другие. Гуляли до рассвета в свою первую ночь. Расставались и умели ждать. В них была какая-то особая сила.

И какая жизнь. Бессонные ночи, когда отец уезжал на испытания. Война. Годы войны. Тогда матери было двадцать пять — двадцать шесть. Всего на четыре года старше ее. А в ней есть ли эта сила?

Засыпая (или уже во сне?) Майя слышала какие-то приглушенные голоса, шаги. Поднялся ветер, ворвался в дом, двери захлопали и заскрипели. Над головой от удара молнии вспыхнул огонь. Но это был мертвый огонь — он не горел, а светился холодным, белым светом.

Майе стало страшно. Она собрала все силы, чтобы проснуться, но не могла пошевелиться — таким холодом веяло от этого мертвого огня. Ей казалось, что она замерзает, и дыхание останавливается. И вдруг — огонь погас. Она почувствовала тепло — и проснулась.

Было уже утро. Солнечный свет заливал комнату. За окном шумела улица. А в квартире стояла тишина.

\* \* \*

Майя вышла из своей комнаты и остановилась — что-то неуловимо изменилось в квартире. Как будто все было на своих местах, как вчера, как всегда, и все-таки... Ну, конечно. На столе лежала Валькина трубка — и воздух был уже другим. Ночью он курил, ходил по комнате, разговаривал с матерью — значит, не во сне она слышала шаги и голоса. У Майи заныло сердце — ну, вот оно, начинается. Только не отступать. Что бы там ни было — не отступать. И сказать все сразу. А потом они с Юрой уедут. Делайте, что хотите, а они — уедут.

Полина Александровна хлопотала на кухне, Майя сразу ощутила: нет у матери того радостного возбуждения, которое она даже не пыталась скрывать, когда приезжал Валька.

— Доброе утро, мама. Валька приехал?

— Приехал.

— Ну, вот. А ты беспокоилась.

Мать не ответила, а Майя не стала больше расспрашивать. Только сейчас она почувствовала, как ждала и как боялась встречи с Валькой. И — как ей не хватало его. Насколько было бы легче, если бы Валька мог понять. Но где уж ему — благородному рыцарю, следопыту-землепроходцу.

— Спит таежный зверь? Пойти разбудить? — сказала Майя.

— Не надо. Привет, первоклашка! Как ты тут? — Он стоял в две-

рях, широкоплечий, здоровенный, в своих старых тренировочных брюках, небритый, со спутанными волосами.

Валька улыбался, но глаза его были озабоченные. Сухие, как отметила про себя Майя. И лицо осунувшееся. Он обнял ее, достал все-таки своими длинными ручищами, и взъерошил ей волосы.

Ну, самый подходящий момент. Надо сразу — потом будет труднее. Майя собрала все силы, все в ней напряглось, но голос прозвучал, как обычно, пожалуй, только немного тише:

— А я, знаешь, замуж выхожу...

— Знаю.— Валька замялся.— Потерпи немного. Все уладится — вот увидишь.

Что это он?— удивилась Майя.— Или мама ничего не сказала? Она мягко отстранилась, села у окна и снова повторила:

— Я выхожу замуж. И мы с Юрой уезжаем.

А теперь можете меня убивать — Майя не произнесла этих слов, но их и не надо было произносить.

— Какой Юра?— нахмурился Валентин.— О чем ты?

— Почему ты не спрашиваешь о Севе?— спросила Полина Александровна.

— Мы с Юрой уезжаем. Уезжаем,— с каменным лицом повторила Майя.

Глаза у Валентина потемнели. Он, кажется, начинал понимать.

— Постой, постой, ты...

— Да,— сказала Майя.— Да.

И Валентин, никогда не выходивший из себя, вдруг закричал:

— Ты с ума сошла! Ты не смеешь, слышишь, не смеешь так поступать! — он задохнулся.— Это подло!

Майя ждала всего — ледяного молчания, презрительных, обидных, как пощечина, слов, только не этого взрыва. Она закрыла глаза. Что ж, пусть так. Тем лучше. Конечно, она поступает подло. Что он еще мог сказать? Майя ощутила какую-то холодную пустоту внутри. Неважно, что она ответит. Все равно.

— Ты хочешь, чтобы все жили, как ты. А я не хочу,— Майя не слышала своего голоса.— Не хочу, понимаешь? Жить, как ты — а по-другому подло? Ты счастлив? Тебе тридцать, а чего ты добился? Что сделал, что сумел? Исходил всю Сибирь и даже не защитил кандидатской. И все твои принципы.

— Замолчи! Стыдно слушать,— вырвалось у Полины Александровны.— Замолчи,— чуть слышно повторила она.

Но Майя, плохо понимая, что говорит, только чувствуя, что будет стыдиться своих слов, уже не могла остановиться:

— Ах, вот как — замолчать. Но не ты ли учила меня не бояться правды? Или к благородному Валентину это не относится?

— Разве ты забыла, Валя бросил аспирантуру после смерти отца.



Тебе было двенадцать. А я — ты знаешь, что было со мной.— Полина Александровна тяжело опустилась на стул, закрыла лицо рукой.

— Ну, конечно,— зло сказала Майя,— это я во всем виновата. Это я испортила карьеру Валентину. И его личную жизнь — тоже.

Она вдруг перехватила взгляд Валентина, устремленный на мать, и замолкла. От жалости к матери, от стыда и обиды у нее перехватило горло.

Валентин молчал. Он так и стоял в дверях, не шевельнувшись — только прижал ладонь к лицу, чтобы не смотреть на Майю.

А у нее звенело в ушах и перед глазамиплыли зеленые круги. Надо уйти. Встать — и уйти. Но не было сил. И все-таки заставила себя подняться, сделать шаг. Валентин не заметил ее движения. Теперь надо бы сказать — дай пройти. Сейчас она скажет. Еще минута.

— Пропусти меня,— сказала Майя. Теперь, когда она услышала свой голос, ей стало легче. Комок в горле как будто растаял.— Извини,— и еще раз повторила.— Извини. Все не так...

— Почему же? Вроде все правда. Все так и есть.— Валентин посторонился. Теперь Майя могла уйти, но она должна была еще что-то сказать. Просто еще два слова.

— Тут приходила Таня. Сидела у нас. Спрашивала о тебе. Позвони ей.

— Хорошо. Спасибо.

— Она долго сидела. Обо всем говорили.

Валентин промолчал. И Майя, будто угадав, о чем он думает, неожиданно для себя сказала:

— Я видела ее глаза, когда она спрашивала о тебе. Таня и сейчас любит тебя.

— У нее ребенок,— Валентину было трудно говорить, мог бы промолчать, но он все-таки ответил.— И она счастлива по-своему.

— По-своему... Не обманывай себя,— Майя остановилась, словно не решаясь досказать.— Она несчастлива. Из-за тебя.

— Федя, ее муж, мой товарищ...— Валентин оборвал себя. Что это он — оправдывается?

Нет, он не раскаивается. Не раскаивается ни в чем. И в том, что бросил аспирантуру, и в том, как они решили с Таней. Решили вместе. В те дни, вскоре после смерти отца.

Валентин никогда не думал, что так много людей знают отца. Он не слушал речи над могилой. Он стоял рядом с матерью, держал ее за руку и смотрел на ее застывшее лицо. Все эти страшные сутки мать не плакала, не говорила, не ела. Она сидела и безжизненными глазами смотрела в пространство. Все, что делалось в доме, словно

не касалось ее. Когда ее о чем-то спрашивали, она кивала головой. Но Валентин чувствовал: время от времени мать ищет глазами его и Майю.

— Мы здесь, мама, с тобой,— говорила Майя.

Сейчас она стояла с другой стороны и, обняв мать за плечи, тихо плакала.

Кругом были лица, много лиц, но Валентин видел и словно не видел их. Он смотрел на мать, даже не смотрел — прислушивался к ней, к тому, что у нее происходило в душе, чтобы вовремя помочь тем слабым силам, которые сопротивлялись отчаянию и горю. И только войдя в дом после кладбища, когда мать, обняв его, первый раз заплакала, Валентин почувствовал, что, вероятно, самое страшное, самое худшее позади.

В доме хлопотали женщины, жены друзей отца, они все сделали и все приготовили, что надо.

— Сядь на место отца,— тихо сказала мать. Первое, что она сказала за этот день.

Валентин сел во главе стола. Отсюда ему были видны все, или почти все — народу было так много, что женщины все что-то подставляли и подставляли (стол занял всю комнату), но все равно всем не хватило места, и люди стояли и сидели, кто где мог.

Теперь Валентин узнавал знакомые лица — товарищей отца, которые часто бывали у них в доме, и тех, кого он видел редко. Были и совсем незнакомые люди, вероятно, сугубо штатские, не имеющие отношения к авиации. Где-то в конце стола сидел пожилой человек, лысоватый, в чистой белой рубашке с темным галстуком, с усталым лицом. Он хмурился и молчал. Его, видно, никто не знал здесь. Была еще седая женщина в черном платье с молодым человеком, по-видимому сыном; какая-то старушка; парень с девушкой — она тихо плакала, вытирала слезы мокрым платком, и парню было неловко за нее.

Кто они, эти люди? В какой момент своей жизни они встретили отца и он помог им, принял участие в их судьбе. Отец никогда не жалел времени и душевных сил пригласить к себе, поговорить, куда-то поехать, чего-то добиваться, а потом встречаться — люди не уходили от него.

Кто-то сказал: у него всегда хватало времени быть человеком.

Лица людей, сидящих за столом, то вдруг высвечивались, выделялись четко и резко, то расплывались, уходили. До сознания доходили какие-то слова, не их смысл, а интонация, как они говорились.

Только одно лицо — матери — было все время перед ним.

Фронтальные товарищи.

Один прилетел из Владивостока, другой из Ленинграда. Близкий друг отца — из Берлина. Они говорили о том, что было тогда. Только об этом. Когда отец был с ними и все они были молоды. А те-

перь их осталось мало. Из тех, с кем начинали в сорок втором, только трое. Они не могли примириться, что нет отца. Он как бы был с ними за этим столом, и они вместе вспоминали войну.

Когда начали расходиться, к Валентину подходили, что-то говорили или просто молча жали руку. Потом остались четверо — мать, ее сестра и они с Майей. Была бессонная ночь, долгие часы полусна, полузабытья — во всех комнатах горел свет...

Только через несколько дней Валентин сел за стол отца, чтобы прибрать его бумаги.

Он сидел за столом, где еще лежали трубки, оставленные отцом, пепел, в пепельнице, спички. Журналы с закладками. Недочитанная книга, закрытая на странице с загнутым уголком. Где-то в дальнем углу ящика Валентин нашел пачку писем с фронта, которые мать сохранила, еще какие-то письма, и среди них рисунок Майи, когда ей было семь лет — большое желтое солнце, две девочки с косичками, а над ними дугой, до самого неба, — скакалки.

Дневники испытаний, которые отец вел для себя. Там почти не было технических записей, скорее наблюдения за собой, мысли, наспех занесенные в тетрадь после полетов.

Что остается после смерти человека? Бумаги, вещи, фотографии... И — пустота. Такая, что ее ничем не заполнишь. Наверно, это так: когда человек уходит — что-то меняется в мире. И ты чувствуешь, какие-то краски погасли, исчезли — им уже не ожить. Чего-то уже больше не увидишь, не услышишь, потому что не услышишь его голоса, его слов, не увидишь его глаз. А что-то, может быть, самое главное, будет в тебе жить до конца.

...Они собирают с отцом чернику и все глубже уходят в лес. Валя не заметил, как они спустились в ложок, и им открылась поляна, заросшая островками мха. Мох был пушистый, нежно-зеленый и будто светился от заходящего солнца. Шагнешь — и провалишься. Валя остановился в нерешительности. Стояла тишина, щебет птиц доносился издалека, как будто сюда они боялись залетать. С другой стороны поляны тропинка чуть поднималась, снова начинался лес, бронзовые сосны, темные, заросшие до земли ели, и на пологом склоне выступали корни, причудливо изгибаясь, сплетаясь, словно застывшие змеи. И Вале показалось, что вот сейчас, прямо сейчас, он увидит избушку на курьих ножках.

— Ну, — сказал отец, — что будем делать?

— Пойдем домой. — Валя попятился. Ему стало страшно. — Как по-твоему, — чуть дрогнувшим голосом спросил он, — что там, вон за той елкой?

— Не знаю, — сказал отец. — Посмотрим?

— Лучше пойдем домой.

— Так не годится. Ты боишься и хочешь отступить.

— А ты не боишься?— спросил Валя.

— Как тебе сказать...

— Ага,— обрадовался Валя.— Ты большой и боишься. А я — маленький.

— Но это все равно,— ответил отец.— Если боишься, когда маленький, то будешь бояться всегда. Всю жизнь.

Валя задумался. Он не хотел бояться всегда, всю жизнь. Он хотел летать, как отец, или плавать по морям в бурю — твердо он еще не решил. Но ступить на мох было страшно. Если провалишься? А вдруг это не корни, а змеи, и они оживут, когда он подойдет к ним?

— Ну,— сказал отец,— решай...

Валя побледнел и, закрыв глаза, осторожно поставил ногу на мох. Она чуть провалилась, но внизу была твердая земля. Еще один шаг. Еще. Он пошел, еще медленно, с опаской, но чувствуя, что самое трудное позади. А вот и склон. Теперь Валя хорошо видел, что это никакие не змеи. Корни, самые обыкновенные корни. В лесу таких много, и он не раз спотыкался о них. Он сбегал по тропинке. Ему казалось, теперь он все может, ничего не боится. И этого дерева, которое было всего лишь старой замшелой елью, а за ней стоял молодой дубок, такой веселый, с такой светлой молодой листвой!

Валя вернулся на тропинку, стал на пенек, махнул рукой отцу и закричал:

— Давай иди, не бойся! Здесь ничего нет!

Валя видел смеющееся лицо отца, когда он легко бежал к нему и потом схватил его и подбросил вверх:

— Молодец!

Почему-то особенно ясно ему запомнился бегущий к нему отец, освещенный вечерним золотистым солнцем, его смеющееся лицо.

Валентину казалось, отец никогда ничему не учил его. Просто рядом с отцом он сам все понимал по-другому — больше видел, и мир становился словно шире, глубже. Ему вспомнились «полуночные» разговоры с отцом на кухне, когда все спали,— обо всем. Потом, повзрослев, Валя проверял себя: если может легко рассказать отцу о том, что произошло и как он поступил,— значит, он был прав. А если рассказывать было трудно, он старался сначала сам разобраться, понять и потом все-таки заставить себя поговорить с отцом. В том, что он стал геологом-разведчиком и полгода проводил в трудных маршрутах, вероятно, тоже сказалось влияние отца.

Все хорошее трудно. Всегда надо что-то преодолевать в себе. Но без этого — жизнь не в жизнь. Валентин не мог вспомнить, ког-

да, по какому поводу отец сказал это. Наверно, в одном из «полуночных» разговоров на кухне.

Такая холодная пустота — ее ничем не заполнишь. А что-то, может быть, самое главное, остается. И будет в тебе до конца.

Валентин почувствовал, как круто меняется его судьба. Надо быть с матерью. Заставить ее жить. И еще — Майя. Ей двенадцать...

— Тут приходила Таня. Я видела ее глаза, когда она спрашивала о тебе. Она и сейчас любит тебя.

— Не обманывай себя. Она несчастлива. Из-за тебя.

Майя давно уже ушла в свою комнату, а Валентин все стоял в дверях, и мать сидела за столиком, все так же закрыв лицо рукой.

Нет, он не мог поступить иначе. Федя, муж Тани, его друг. Сколько было пройдено вместе. Мерзли в одной палатке. Делили последние сухари. Выбирались вдвоем, когда одному было бы не выбраться. Они твердо знали, что сделает другой в любом, самом гиблом положении, и каждый из них верил другому, как самому себе. И все это зачеркнуть? На все наплевать? Что же тогда останется?

У Валентина кружилась голова, когда он думал о Тани. Был день, и была ночь — им казалось тогда, что весь мир для них, потому что они нашли друг друга. Но и в этот день, и в ту ночь вдруг что-то всплывало, и вставало между ними, и слова, которые он хотел сказать, обрывались. И Валентин понял — так будет всегда. Есть такое, через которое перешагнуть нельзя, если хочешь остаться человеком.

У него хватило сил все сказать Тани. Она молчала, пока он говорил. Она все поняла и все-таки не могла примириться.

— У нас одна жизнь, пойми. Только одна.

— Да,— сказал Валентин,— только одна. Другой не будет.

Он сразу уехал тогда, и уже прошло два года, но будто и не было этих двух лет. И опять Таня приходила и спрашивала о нем...

Полина Александровна подняла голову:

— Надо сказать Майе о Севе.

— Конечно. Сегодня поговорю с ней.— Валентин подошел к столу и сел напротив матери.

— Что думаешь делать?

— Поеду к ребятам. В институт, в министерство. Надо посоветоваться. Дорог каждый день.

Если бы не это несчастье с Севой, он никогда бы не позволил себе так накричать на Майю. А тут все сошлось. Она вольна поступать, как хочет. Но только пусть решает, когда узнает все.

Валентин поднялся:

— Надо ехать. Пойду одеваться.

— Поезжай,— сказала Полина Александровна.

Начинало светать, но Юра уже не спал. Он сидел у окна и смотрел на заснеженные поля, далекие мелькающие огоньки, редкие, покрытые снегом крыши домов, вдруг проступающие из мглы, и ему казалось, что конца нет этим синеватым снегам и крышам, и огонькам, и застывшим безлюдным полустанкам.

Бесконечные три дня, которые он провел у матери в Пензе, и не видел Майи, и был далеко от нее, и писал ей письма,— показались ему целой вечностью. Три дня, а как будто какие-то события раскидали и разделили их, и вот он едет к ней и не знает, как она. И тревожно, будто что-то могло случиться. Все могло случиться. Неужели так будет всегда? Будет — не будет... Скорее бы увидеть ее, услышать голос. И больше не расставаться.

Похоже, поезд шел уже по Подмоскovie. Попутчик Юры, Матвей Самойлович, давно собравший свой чемодан и портфель, сидел напротив за столиком и дремал, подперев лысую голову руками. Юре казалось, что он знаком с ним много лет и что все, вчера вечером рассказанное Матвеем Самойловичем, он уже слышал от него много раз. Как он восстанавливал шахты Донбасса после войны, как у него умерла жена, как он живет вдвоем с сыном, помощником кинорежиссера, и как сын отчитывает его за беспокойный характер.

Юра слушал его, кивал головой и думал о Майе. В какие-то минуты он ничего не слышал, потом голос Матвея Самойловича вдруг снова появлялся, и Юра ловил себя на мысли, что он не успел додумать что-то очень важное. Как войдет к ней в дом. Слова, которые ей скажет.— Конечно, Саша зарабатывает. Но мне его деньги не нужны. Свою зарплату он кладет мне на столик у кровати, когда я сплю. На хозяйство. Но мне его деньги не нужны. Я кладу их на сберкнижку, на его имя. Ему пригодятся.— Но почему, почему Майя не дала хотя бы телеграммы? Два слова. Просто, чтобы была телеграмма. А еще лучше — одно.— Сашка все никак не может жениться. Иногда не ночует дома. Разве это жизнь? А когда я говорю, он сердится. Но я не могу не говорить. У меня сердце болит. Такой характер. Хорошо. Я ничего не понимаю. Все преувеличиваю. Но разве это дело, когда человеку тридцать пять лет, а у него нет семьи, детей... Ну, скажите, разве это хорошо?

— Конечно, нехорошо,— отвечал Юра. А вдруг получилось так, он уехал, а к матери пришло письмо от Майи?

Кажется, он уже слышал, что у Сашки бывает молодая женщина, врач. Очень хорошая, симпатичная женщина, но, во-первых, она на целых четыре года старше Сашки, и потом у нее ребенок... Про Ленинград тоже слышал. Там что ни дом — то история. Что ни дом —

то музей. Юра ждал паузы. Как только будет возможно — он выйдет в тамбур. Там ветер, холодно, и — никого.

Поезд набирал скорость. Еще час, полтора. В купе начали собираться, и Юра, воспользовавшись суматохой, вышел. Но и здесь, у окон, теснились люди. Ну, вот и тамбур. И — никого.

Мерно, однотонно стучат колеса. Протяжный гудок — проскочили какую-то станцию. Целых три дня он не видел Майи. Прошло три дня. В тамбур задувало морозным ветром и колючей снежной пылью. Прошло три дня, и вдруг мне показалось, что я забыл твое лицо... Вот как. Ну и ну. Давно с ним не случалось такого. Но мелодия уже появилась и тащила за собой. Прошло три дня, и вдруг мне показалось, что я забыл твое лицо. И голос твой...

Мимо прошел проводник, удивленно посмотрел на него. Стало холодно. И голос твой... Все, все забыл... Теперь Юра не мог вспомнить ее лицо. Оно виделось ему, но смутно, в отдалении, какие-то черты ускользали. И вдруг мне показалось... И голос твой и то, как ты смеялась...

Все сложилось, когда он шел в вагон. Отодвигались двери — сухим, металлическим звуком щелкали замки. Слышались голоса.

Прошло три дня, и вдруг мне показалось,  
что я забыл твое лицо,  
и голос твой, и то, как ты смеялась,  
и тонких рук холодное кольцо.

Ну и ну. Но мелодия тащила его дальше. Все, все забыл, как будто смыло косым дождем минуты те... Юра вошел в купе и сел к окну. Его попутчики уже собрались. Они переговаривались односложными фразами, чуть напряженные, все как обычно, когда кончается дорога.

Матвей Самойлович молча смотрел в окно. «Беспокойный я человек. Все хожу, думаю — так или не так...» Увидев Юру, обрадовался:

— А я уже забеспокоился. Мало ли что — дорога...

Бедный Сашка, подумал Юра. Он словно впервые увидел лицо старика. Морщины. Седые, кустистые брови. И — грустные глаза. А ведь ему, наверно, и слова сказать не с кем. Как же так — жизнь прожил шумно, всегда окруженный людьми, ездил по стране, строил. А к старости — только Сашка... Вот и его мать так. Непросто устроена жизнь. Может поэтому, когда люди находят друг друга, кажется, что все рухнет, если они будут не вместе. Прошло три дня, и вдруг мне показалось... Страшно даже это — три дня.

Поезд замедлил ход и вошел в сплетение путей — Москва.

— Придете к нам, посидим, поговорим, — сказал Матвей Самойлович, — у нас разные люди бывают. Придете?

— Обязательно.

Последние метры. Платформа. Пассажиры прильнули к окнам.

— Вот и приехали,— кто-нибудь да должен был это сказать.— Вот и Москва.

Вот и Москва. Такая же, как всегда. И толкотня на вокзале, и толпа на улицах, и здания на своих местах.

...Опустив монету в автомат, Юра перевел дыхание. У него вдруг заколотилось сердце. Длинные гудки. Длинные гудки. Никого? Ну, да — еще очень рано. Юра поспешно повесил трубку.

Он вышел к Красным воротам, пересек Садовое кольцо и двинулся по Кировской. У автомата, на углу, остановился, посмотрел на часы. Восемь. Рано или не рано? Пожалуй, можно. Но все-таки для верности решил звонить из следующего. Автомат не работал, и Юра, все увыстря шаг, дошел до Почтамта.

Длинные гудки. Подождем. Длинные гудки.

— Да,— трубку взяла Полина Александровна. А он был уверен, что Майя.

— Да, да, слушаю,— нетерпеливо повторила она.

— Будьте любезны, Майю.

Почему он не поздоровался с Полиной Александровной? Как мальчишка. Но было уже поздно, и пауза затягивалась. Или это ему показалось?

— Майи нет дома,— голос прозвучал холодно. И снова — пауза.

— Передайте, пожалуйста, что звонил Юра.— Он замялся.— А когда она будет?

— Вероятно, вечером.— Там, на другом конце провода, щелкнул рычажок и раздались частые гудки.

Все. Разговор окончен. Скорее всего, Полина Александровна узнала его. Узнала — но не пожелала разговаривать. Как и тогда за обедом, когда он пытался все сказать, коротко и ясно, а получилась ерунда. Хорошо же он выглядит перед Полиной Александровной. А почему, собственно говоря, он должен хорошо выглядеть? Он врывался в чужую жизнь и знать ничего не хотел.

Впервые Юра подумал о Всеволоде и Валентине и о том, с какой тревогой Майя ждала их приезда. Он-то знать ничего не хотел. А для Майи все это было крушением прежнего. Крушением. И для нее, и для Полины Александровны. А вдруг они уже приехали, что-то изменилось, что-то произошло?

На какой-то миг Юре показалось, что Майя отдаляется; и то, что он стоит здесь, на почтамте, с чемоданом у автомата, а час назад смотрел из окна поезда на бегущие поля, огни,— все это не реальность. Как в дурном сне. Но это были секунды. Он действительно стоял у телефонной будки с чемоданом. И звонил, а Майи не



было дома. Но она существует, и она в Москве. И сегодня он увидит ее. Нельзя было уезжать. Он должен быть с ней. Что бы ни случилось — быть с ней.

Юра вышел на улицу. Шел мокрый снег. Не то снег, не то дождь. Сейчас он закинет домой чемодан и отправится на поиски Майи. Для начала — в университет.

#### 4

До снега оставалось недели две, и Сева принял решение разделиться. Федючев вместе с рабочим и проводником обогнут падь с севера и обследуют восточный склон Гольца. А они с другим рабочим пойдут южнее. Другого выхода нет. Если не разделиться, им не успеть — задание не выполнят, и год будет потерян. Тогда все на смарку, все эти четыре месяца скитаний по тайге, вымотавшие их до предела. Тем более что самое интересное и, как предполагал Сева, самое важное должно быть там — с востока и юга Гольца.

— Надо было думать раньше,— сказал Федючев.— Я предлагал сократить маршрут. На черта нам сдалась эта падь!— вдруг сорвался он на крик.— Мы не обязаны были там лазить! Как раз эти самые две недели.

Вот уже два дня, как Федючев был мрачен, раздражителен. Началось с того, что он ушиб ногу, когда они переходили через ручей, громко и длинно выругался, чем удивил проводника, и бросил вещмешок. Нога прошла, ушиб был не сильный, но Сева-то знал, стоило только раз сорваться, а там пойдет. Он посмотрел на осунувшееся, ожесточенное лицо Федючева с сухим, напряженным блеском в глазах, и заколебался. Не нравился ему этот сухой блеск. Парень вымотался. Нервы на пределе. Но, черт возьми, не в первый же раз. Бывало и похуже. Надо только встряхнуться. Неужели не хватит его еще на две недели?

Федючев, словно угадав его мысли, усмехнулся:

— Прикидываешь? Дело не в этом.

— А в чем?

— В том, что мы не имеем права рисковать людьми. Продуктов в обрез. Еле-еле. А если — задержка? Что тогда? А пока еще мы спокойно за неделю доберемся до Кедровки. Валька уже, наверное, ждет.

— Значит, все собаке под хвост?

— Мы не имеем права рисковать людьми,— упрямо повторил Федючев.— Я, во всяком случае, ответственность с себя снимаю.

— Ну, что ж. Я вроде — старший,— сказал Сева,— мне и отвечать.

Они замолчали. Теперь, когда все стало ясно, говорить было не

о чем. Не думал Сева, что услышит такое от Федючева. Ну и черт с ним. Лишь бы дело сделал.

В палатке было тепло. С наветренной стороны уходил вверх склон Медвежьей горы (ее вершина действительно была похожа на медведя, стоящего на задних лапах), а кругом шумела тайга. Отсюда нетрудно добраться до Кедровки. Спуск займет не больше дня, а там уже идти вдоль ручья до озера и затем прямо на юг. А им предстояло обойти Медвежью гору и потом подниматься по крутым скалам на Голец — с севера и с юга. Предстояло самое трудное.

— Это был риск. Понимаешь?— Валентин хотел зажечь трубку, но не нашел спичек.

Они сидели в большой комнате — Майя на диване, а Валентин ходил и присаживался к столу. Темнело, и они зажгли, как всегда, только одну лампу над столом. Как все изменилось, сломалось, а здесь, в этой комнате, все оставалось по-прежнему.

— Возьми,— сказала Майя, протягивая коробок. Она вдруг словно увидела себя со стороны, на этом диване, с книгой, которую читала, время от времени отрываясь, чтобы вставить слово в общий разговор. И мать сидела в кресле и слушала, что говорит Валентин. И ее охватило странное чувство, будто все это происходит в прошлом. А то, что говорит Валентин,— из какой-то другой жизни, далекой от них...

— Да, риск,— продолжал Валентин.— Но на месте Севы я поступил бы точно так же. Другого выхода не было. Он не мог знать, что снег выпадет раньше на четыре дня. Они рассчитали с запасом. По всем приметам этого не должно было быть.

Снег выпал — а ночью заморозило. Спускаться стало отчаянно трудно. А они еще ослабли — продукты уже кончились.

Катастрофа произошла утром. Когда они спускались, сорвался рабочий и расшибся насмерть. Но они все-таки спустились вдвоем с проводником и дошли до ручья. Федючев решил, что им не выбраться, и оставил запись в дневнике. Он во всем обвинял Севу — и в том, что погиб рабочий, и что им не выбраться...

Там, у ручья, мы и нашли их.

Когда Федючев, уже в больнице, пришел в себя, от него потребовали объяснений в связи с гибелью рабочего. И он снова повторил все, что записал в дневнике. Началось следствие. У Севы взяли подписку о невыезде. И, наверно, скоро будет суд.

— Но что, что можно сделать?— спросила Майя. До нее словно только сейчас дошел весь смысл того, что рассказал Валентин. Как теперь Юра и я? И что теперь будет?— была первая мысль. Она устыдилась ее. Но снова, как будто помимо ее воли, вертелась и не

уходила та же мысль, тот же вопрос: как же нам с Юрой теперь быть? Она не произнесла этого вслух. А может быть, и произнесла, потому что Валя посмотрел на нее с удивлением.

— Я получил характеристику для Севы,— письмо из института,— сказал он.— Завтра мы вылетаем.

Вылетаем. Кто это «мы»? А может, он думает, что я должна лететь с ним? Но чем, чем я могу помочь?

— Чем я могу помочь?— вслух сказала Майя.

Кто-то позвонил, и Полина Александровна пошла открывать.

— Решай сама, как тебе поступить,— Валентин остановился перед Майей.— Решай сама,— повторил он,— но сначала прочти. Письмо от Севы.

По тому знакомому состоянию, охватившему ее, когда все напрягается, Майя почувствовала, что вошел Юра. Она быстро обернулась. Юра стоял на пороге, уже сняв пальто, и ждал, когда она подойдет к нему.

— Возьми письмо и прочти,— не обращая внимания на Юру, настойчиво повторил Валентин.

Майя, сжав письмо, подбежала к Юре:

— Тебя так долго не было. Так долго. Пойдем ко мне.

Юра успел сказать «добрый вечер», но ему никто не ответил. Когда они оказались в ее комнате, Майя прильнула к нему:

— Что бы ни случилось, мы уезжаем. Хорошо?

— Ну, конечно, уезжаем. А здесь все так же. Значит, все так же.— Ему очень хотелось рассказать Майе, о чем он думал в Пензе и когда ехал в поезде сюда, и о Матвее Самойловиче, и еще о том, что его рассказы понравились старику, а он маститый, и теперь, можно считать, договор с издательством в кармане. Но всего было так много, что он не знал, с чего начать. Он смотрел на Майю, молчал, и все в нем звенело, и ему не верилось, что вот она стоит перед ним.

А когда они сели, как это бывает, заговорили о другом, односложными фразами, и замолкали надолго, и то, о чем хотел рассказать Юра, потеряло свою остроту, потускнело, отодвинулось: это уже было прошлое, и оно заслонилось тем, что они были вместе.

Майя машинально положила письмо рядом с собой и забыла о нем. Юра взял конверт.

— От Севы,— сказала Майя. Оживление ее погасло. Тревожная тень пробежала по лицу. Нет, не уйти ей, не спрятаться от этого никуда.

— От Севы,— повторила она.— Еще не успела прочитать. С ним несчастье случилось...

— Несчастье?

— Да.

Сбивчиво, как могла, она рассказала о том, что услышала от Валентина.

— Не успела прочитать?— переспросил Юра.

— Ну, да. Валя только передал письмо, а тут ты пришел.

— Прочтем вместе?— предложил Юра.

— Не надо,— сказала Майя,— ну, зачем?

Она и сама не знала, чего боялась. Не хотела, чтобы это коснулось Юры.

— У нас не будет секретов,— повторил Юра ее слова. Он все помнил, что она говорила.

— Прошу тебя, не надо,— теперь Майе начало казаться, что именно это письмо встанет между ней и Юрой.— Я суеверная дура. Я боюсь.

— Хорошо. Не надо,— сказал Юра.

— Не сердись. Просто он очень любит меня. И я знаю, что там написано. Не надо,— повторила Майя самой себе, словно забыв, что Юра здесь.

Лицо Майи отдалилось,— не лицо, белое пятно с большими, темными глазами.— Что это?— подумал Юра. Но это была секунда, мгновение. Майя сидела рядом с ним, и он прекрасно видел в начинающихся сумерках ее бледное, напряженное лицо, сведенные брови, морщинку на лбу.

— Как же так,— сказал Юра,— по твоим словам получается, что он не виноват.

— Конечно, не виноват.

Юра не ответил, и Майя, разорвав конверт, начала читать письмо. Она поняла, что должна это сделать. Именно сейчас, когда Юра здесь. Она читала про себя, и у нее сжималось сердце.— Сева писал, чтобы она не отчаивалась: все обойдется. Ему ничего не страшно, если он будет знать, что с ней все хорошо. А вообще-то дела складываются невесело — все может быть. И неизвестно — когда он ее увидит? Вторая половина письма, как Сева ни старался, чтобы она звучала бодро, все-таки перечеркивала его «все обойдется». Майя ясно почувствовала: может, и не обойдется. Все может быть. Сева не говорил прямо, чтобы она приехала, но, как бы между прочим, он привел расчет времени на дорогу. Самолетом — два дня туда, и еще день, и столько же обратно.

Нет, не напрасно Майя боялась этого письма. Это как камень, который придавил ее. Она представила себе, как ему там тяжело, как одиноко. Как он ждет ее. Ну — хорошо: она поедет к нему. Но это будет обман. Ложь. Гадость. Она не сможет обманывать его там, когда останется с ним. Поехать — чтобы сказать? Разве это не хуже? Поехать, чтобы отнять у него все. Она-то знала, какой это удар был бы для Севы. Он все перенесет — не согнется. Все — кро-

ме этого. Но раз так получилось, пусть и Юра прочтет. Как бы там ни было, пусть все знает.

— Прочти,— сказала Майя, протягивая письмо,— прошу тебя. Чувствовал ли Юра, что происходит в душе Майи?

Она смотрела на его лицо, пока он читал письмо, и терялась в сомнениях — кажется, первый раз она не могла понять, что волнует его, о чем он думает. Рука Юры, которую она держала, была словно безжизненна. Эта рука ничего не говорила ей.

Юра молчал, задумавшись, смотрел куда-то в одну точку. Майя и не заметила, когда он успел прочитать письмо.

— Что мне делать?— спросила она.— Научи. Как ты скажешь, так и будет.— Майя произнесла это спокойно, но Юра понял, чего стоил этот спокойный тон. Он обнял ее, и его снова, с прежней силой охватило то чувство, когда время обрывается и исчезает реальность. Он смотрел на ее лицо, и ему казалось, что в нем открывается что-то новое, неизвестное ему. Может быть, Майя была и некрасива сейчас — как будто что-то опустилось в ее лице, и погас живой блеск глаз, и была она во всем домашнем, кое-как причесана, потому что не ждала его и жила все эти дни в том состоянии подавленности, которое пригибает человека,— но именно сейчас она казалась особенно близкой. Впервые Юра подумал о том, что ведь были и, наверное, будут в ее жизни и болезни, и бессонные ночи, и трудные будни, заботы. И она будет нуждаться в его помощи и защите и никогда не даст почувствовать, что это так. Юра словно увидел ее совсем другой, и незнакомое, острое чувство жалости, нежности, страха за нее охватило его.

Майя чутьем поняла его состояние и сжала его руку.

Стало совсем темно. Им не хотелось зажигать свет, говорить. Но и в эти минуты они не могли уйти от того, что произошло. Майя ждала ответа, она должна была знать, что же думает Юра. Она ждала и боялась, что он сейчас скажет — езжай.

— Не мне учить, пойми,— проговорил Юра. — Ты должна решить сама... Потому что...— он не договорил, но Майя поняла: потому что это есть и никуда не уйдет и с этим тебе жить.

— Я не могу ехать. Не могу,— сказала Майя. Она остановилась, словно подыскивая аргументы (о самом главном Юре не нужно было говорить — он понимал это и сам). — И потом — это бесполезно. Что я могу сделать, как помочь? Мы должны уехать с тобой. Куда хочешь. Только скорей.

— Хорошо,— сказал Юра,— хорошо.— Ему вдруг показалось, что говорит не он, а кто-то другой.— А мы могли бы поговорить с твоим братом?

— Зачем?— удивилась Майя.

— Надо все-таки узнать, что и как.

— Ну что ж. Пойдем поговорим.— Майя встала, зажгла свет. Юра сидел, прикрыв глаза. Лицо озабоченное, усталое. Как будто что-то погасло в нем. Таким Майя еще не видела его.

— Посмотри на меня,— сказала она.

Они встретились взглядом, его глаза сказали «да», но что-то было в них еще, она так и не поняла — что.

\* \* \*

Раскрытый чемодан лежал на диване, вещи разбросаны по комнате, стулья сдвинуты. Во всей квартире — беспорядок.

Майя бродила по комнатам — хотела было помочь Вале собраться, но Полина Александровна довольно решительно отстранила ее. Майя только мешала: предлагала положить не то, складывала не так, а времени оставалось мало. Второй час, присаживаясь на несколько минут то за один стол, то за другой, она писала короткое письмо Севе (не написать было нельзя) и все зачеркивала и рвала листы, вырванные из ее конспектов.

Полина Александровна, как всегда в такие минуты, была собранна, спокойна, несуетлива. С того вечера, когда она пришла в комнату Майи и потом неожиданно рассказала об отце, они больше не говорили ни о Юре, ни о Севе. Не было и того, чего так боялась Майя — неловкости от жалости и презрения, когда отводятся глаза или смотрят как бы сквозь тебя. Ни словом, ни взглядом Полина Александровна не выдала, что происходит в ее душе.

Теперь Валентин уезжал, все было ясно, и Майя была свободна.

Да, она была свободна. И они с Юрой уедут, и ничто, теперь уже ничто не помешает им.

— Ну, как там у тебя?— спросил Валентин.— Через пятнадцать минут надо идти.— Он закрывал чемодан и спросил, не оборачиваясь.

— Не получается,— сказала Майя.— Не могу.

— Ну, что ж, как хочешь,— он поднялся и ногой отшвырнул стул.— Нет, так нет...

За окном светило солнце, голубел кусок неба — не верилось, что зима. Валентин распахнул форточку, остановился у окна.

Полина Александровна положила рядом с чемоданом вещмешок, набитый до отказа. Майя поняла — для Севы. Господи, когда же это кончится, подумала она. Мать, словно угадав ее мысль, сказала:

— Постарайся все-таки...

Встретив умоляющий взгляд Майи, повторила:

— Прошу тебя. Несколько слов. Об этом — не надо...— Ей, видно, трудно было сказать последнюю фразу, но все-таки сказала.

Об этом не надо. Мама права. Она всегда права. Дорогой Сева — написала Майя и остановилась. Дорогой. Милый. Дорогой. Хороший. Если бы ты знал...

Она приписала еще несколько слов. Уверена, все кончится благополучно. Не падай духом. Все кончится благополучно.

Она очень хотела, чтобы так и было.

— Присядем, — сказала Полина Александровна. — Пора.

Зазвонил телефон. Майя взяла трубку. «Это я, — услышала она голос Юры. — Не уходи. Еду к тебе. Я — мигом».

Майя не успела ответить — в трубке затрещало, послышались далекие, слабые гудки. Наверно, Юра говорил из автомата. Позвонит еще? Но телефон молчал. Я — мигом. Что произошло? Ничего, успокоила она себя, ничего. Обычный звонок.

— Ну, пора, — поднялся Валентин.

— Я подожду Юру, — сказала Майя, — мы вас догоним.

Пока мать и Валя одевались в передней, Майя увидела из окна, как к дому подъехала машина. Юра вышел и что-то сказал шоферу. Машина осталась ждать.

— Мы вас догоним, — крикнула Майя. — Идите, а то опоздаете.

Закрылась дверь — Валя и мать ушли. Ну, что он так долго? Майя отошла от окна, и раздался звонок.

Она бросилась открывать дверь. Юра шагнул за порог и обнял ее.

— Что случилось? — Майя ждала, что Юра ответит: ничего. Просто очень хотел тебя увидеть. Но он молчал. Потом чуть отстранил ее.

— Одевайся, Майечка, в машине все скажу.

— Но сначала заедем на аэродром. Проводим Валю.

— Хорошо, — согласился Юра.

Такси уже выехало на Ленинский проспект, а Юра все не начинал разговора.

— Не томи, — сказала Майя.

Сейчас он достанет билеты «Москва — Ташкент» или «Москва — Пенза». Все равно. Засмеется: лотерейные билеты на счастье. Вытащил один знакомый попугай. Верное дело. Не сомневайся.

— Знаешь... — Юра почувствовал, как все в ней напряглось, как она потянулась к нему, и замешкался... — Ты поймешь, — он передохнул, — уверен, поймешь... Я должен уехать туда. Сейчас.

У Майи все оборвалось, но она не хотела верить. Даже заставила себя улыбнуться:

— Вместе с Валею? На одном самолете?

Юра заговорил быстро, не выбирая слов, чтобы быстрее сказать:

— Я газетчик. Смогу все выяснить. Распутать. Помочь. За мной — большая газета. Помочь — понимаешь? Однажды я понял

когда-то приходит твой час, и ты должен сделать все, что можешь. Чего бы это ни стоило,— он замолчал. Самое трудное было сказано.

Майя не отвечала, и Юра поспешил прибавить:

— У меня и командировка в кармане, и билет. Редакционное задание.

— Редакционное задание. Билет. Командировка,— с застывшим лицом повторила Майя.— Все, как полагается.

— Через неделю, ну десять дней, я вернусь. Десять дней... И не заметишь...— Юра оборвал себя. Как мог он это сказать? Прошло три дня, и вдруг мне показалось...— Я не могу иначе...— вслух произнес Юра.

— Я с тобой,— сказала Майя.

Кажется, он ответил: не нужно, Майечка. Не надо. Она сама понимала — не надо. Но все сместилось, смешалось — и она уже плохо слышала, что говорил Юра, и не помнила своих слов.

Майя не помнила, как они оказались на аэродроме, прошли через зал, и она сидела где-то, пока Юра регистрировал свой билет. Потом они вышли на улицу, спустились по каменным ступеням и оказались у низенькой решетки. Она была серебристого цвета, вероятно, недавно покрашена. У прохода толпились люди. Когда они с Юрой подошли, увидели там Вальку и мать. Валька что-то говорил ей, но Майя видела только, как шевелятся его губы. Мать взяла его под руку. Потом все двинулись.

Юра обнял Майю:

— Скоро я приеду. Скоро. Все будет хорошо.— Она слышала его голос, но он доносился будто издалека.

Еще Майя почувствовала: Юра мягко освобождается от ее рук. Он отошел от нее, вернулся, прижал к себе ее лицо. Потом Майя видела, как Юра в толпе людей шел к самолету, оглядывался, махал рукой. Возле самолета она потеряла его. Опять увидела, когда он поднимался по трапу. Но может быть, это был не Юра — самолет стоял далеко, и лица были не видны.

Отъехал трап. Заревели моторы. Самолет стал медленно разворачиваться, Майя смотрела, как он осторожно двигался и выруливал на взлетную полосу.

Начал падать редкий снег. Она почувствовала снежинки на лице. Солнце спряталось.

Взлетная полоса была очень далеко, и теперь самолет казался маленьким. Он остановился, замер, и вдруг покотился — быстрее и быстрее.

У горизонта оторвался от земли и плавно пошел вверх, все уменьшаясь, пока совсем не исчез из виду.





### ОДИН ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА

Поезд подходил к Москве.

— Порядочек, — твердил про себя Николай, — нормальный ход.

Он всегда говорил так, когда волновался. Сейчас он выйдет из вагона. Его встретит Рая, а с тем проклятым разговором покончено. В конце концов прав он, Николай, а не начальник мехколонны. Что, Николаю больше всех надо, что ли? Он свое отработал. Согласно трудовому соглашению — на три года нанимался, три года и отработал. Все законно, чин-чинарем. Вкалывал на совесть — тут уж ничего не скажешь. Зря фотокарточку не станут вешать на Доску почета. Пусть теперь другие узнают, с чем ее кушают, тайгу-матушку.

В сотый раз он говорил себе все это, как будто убеждал упрямого человека — несговорчивого, да еще с занудным характером.

Николаю было очень важно убедить его — заставить замолчать он не мог. Этот невидимый, бесплотный человек изводил его всю дорогу, не давал покоя ни на минуту. Вот и сейчас, хотя и скоро Москва, он опять, не упуская ни одной подробности, повторял тот разговор с начальником мехколонны.

Чудной был разговор. Начальник мехколонны, когда Николай сказал, что уезжает, не поверил, рассмеялся: ладно, баки заливать сами умеем... Но, взглянув в лицо Николаю, вдруг скис: ты что, серьезно?

А Николай словно не слышал вопроса. Смотря в сторону, он все повторял: я — по закону. Не как другие. Отработал — и баста. По закону... — будто не знал других слов.

Это «по закону» и сказало все. Яснее ясного. Начальник мехколонны круто повернулся — аж скрипнул снег — и пошел от него...

Нехороший получился разговор. Как-никак, а три года вместе жили, всякого хлебнули. Но ведь по закону, опять повторил Николай, словно отвечая тому, другому человеку, — по закону...

Уже кончились пригороды, и электровоз осторожно, словно боясь запутаться, входил в густую сеть привокзальных путей.

Николай торопливо надел кожанку и присел к столику, навалившись на него локтями и подавшись вперед, чтобы с перрона можно было его увидеть в окно.

Поезд двигался все тише. Лязгнули буфера, и волна дрожи прокатилась по всему составу. Прокатилась — и замерла в хвосте.

Николай выглянул в окно. Раи не было. Он подождал еще немного, потом поднялся, взял чемодан и не спеша двинулся к выходу. На перроне остановился.

Пал мелкий, мягкий снежок. Сквозь легкую белую завесу виднелся силуэт высотки у Красных ворот, а там, за вокзальным зданием, угадывалась Москва — припорошенная снегом, своя, обжитая, знакомая до мелочей, шумная, меняющаяся, а в чем-то неизменная — со своим воздухом, голосами. У Николая потеплело на сердце. Эх, шут с ними, со всеми — а Москва вот она, Москва.

Он стоял и курил, поглядывая по сторонам. Люди понемногу разбредались. В конце концов, Рая могла и не получить телеграмму. Бывает же так. Или не смогла прийти: время дневное, не отпустили с работы. Ну, Алешка, понятное дело, в школе.

Так оно и есть, — решил Николай и зашагал к выходу.

\* \* \*

Просыпался Николай трудно, словно освобождаясь от тяжелого груза. Вот он ползет на своем самосвале в гору выше, выше. Надо остановиться, а он жмет на газ, и дорога все круче. Еще круче. Надо

остановиться, но он чувствует, уберет газ — и тяжелая машина, грохоча и подпрыгивая на ухабах, неудержимо покатится вниз, а там — ни дна, ни покрышки.

Николай заставлял себя проснуться. А может, он не спал? Перед ним, сначала будто в тумане, уголок стены — очень знакомый, и фотокартонка в рамке, и шкаф с зеркалом. Эх, неужто он и вправду дома! И сразу же вспомнилось, как он вошел в комнату и Раи не было, а на столе записка: вызвали на фабрику подменить Клаву (будто он знал, кто такая Клава), приду в восемь. Алеша в школе. Твоя Рая.

Твоя Рая. А он разделся, и стало ему так нехорошо (три года дома не был, а тут — Клава), что достал из чемодана бутылку. Поискал в буфете, чем закусить. Потом лег, опять выпил и прочитал записку. Почему-то не на вокзале, а здесь, дома, он почувствовал обиду, что не встретили. И Алешка не приходил, и опять все вспомнилось про этот разговор, и как повернулся начальник мехколонны — аж снег заскрипел.

— Проснулся? — над ним наклонилась Рая и прижалась щекой к лицу, и больше ничего не говорила. Николай несмело обнял её, прижал к себе, но Рая мягко освободилась, и тут он увидел Алешку.

Алешка сидел за столом и смотрел на него. Большеголовый, кудлатый, с синими, как у Раи, глазами. Сын. Мужик.

— Ну, здравствуй, сынок, — сказал Николай, — смотри-ка, как вымахал!

Алешка подошел, не зная, что ему делать. В глазах его стояла радость, удивление, любопытство.

— Ну, ну, не бойся, не кусаюсь, — сказал Николай и засмеялся.

А Рая — будто только этого и ждала — весело засуетилась, загремела посудой. Николай (вот она, эта минута!) неторопливо достал чемодан и начал выкладывать на стол дорогие закуски, консервы, шоколад, коньяк — все, чем удалось запастись в вагоне-ресторане.

— Вот, — поднял свою рюмку Николай, когда они уселись, — за то, чтобы всегда были вместе. Так бы жили — и баста!

Он выпил залпом и заблестевшими глазами оглядел жену и сына. Рая, положив вилку, как это она всегда делала, когда начинала разговор за столом, спросила:

— Что же ты, Коля, не написал, что приезжаешь? Мы телеграмму-то поздно получили.

— Да сам не знал, приеду ли. Не пускали, черти. Им ведь знаешь как — только вкальвай. А что человеку домой надо, на это наплевать.

— Кому им? — спросил Алеша.

— Как кому — начальству! Мы насыпь ссыпали, а за нами шли укладчики. Вот они и нажимали. А тут сроки, график, корреспонден-

ты... А что человек по закону действует, как положено, в расчет не берется!— неожиданно раздражаясь, добавил Николай. Он поймал удивленный взгляд Алешки и замолчал. Разве ему объяснишь? Да что мальцу объяснять.

— Я о твоей дороге в газетах читал,— сказал Алешка.— Дорога сквозь тайгу. Через горы, реки...

— Складно говоришь...— Николай как-то по-новому взглянул на сына,— а про батьку твоего, часом, не писали?

— Разве не знаешь?— удивилась Рая.— Мы тут все читали. Соседи приходили...

Рая достала из шкафа аккуратно сложенную вырезку из газеты, подклееную на сгибе. Видно, много рук держало эту газетку. Она самая. Николай сразу узнал ее. В общем, корреспондент правильно описал. Все как было. Как Николай чуть не подох с голоду, когда в паводок размыло и унесло временный мост, будто щепочки. А эн двое суток замерзал в тайге, пока его не нашел вертолет. А про чувства — черт его знает, какие были у него тогда чувства — может, и такие, как описал корреспондент.

Николай вздохнул, налил себе и выпил, не чокаясь. Снова налил и выпил. Вот оно как получается — другое им отсюда видно.

И вдруг обожгла мысль: а если знают, как он уехал? Но Николай сразу же отбросил ее — не могут знать. А хоть бы так — ведь все было по закону, чин-чинарем. По закону — да. А по совести? Да что они мне, судьи, что ли?— снова раздражаясь, подумал Николай. Газета — газетой. А уехал, потому что хватит с него. Не Алешке судить. Ради него, ради семьи вытягивал он из себя жилы три года. И все-таки не мог заставить себя встретиться взглядом с Алешкой и не хотел больше говорить об этом. Пусть лучше расскажут сами, как жили тут без него...

Кто-то постучал. Потом в дверь просунулась рыжая голова.

— Заходи, Вася, заходи. Гостем будешь,— приветливо сказала Рая.— У нас праздник! Видишь, дядя Коля приехал.

Николай взглянул на улыбающуюся веснушчатую физиономию и помахал рукой:

— Давай, давай, рабочий класс, проходи.

Ваську, соседа по квартире, Николай устроил в свой таксомоторный парк, когда тот после десятилетки окончил трехмесячные курсы шоферов. Было это месяца за три до отъезда Николая в Сибирь. Паренек оказался смышленный, но доверить сразу ему машину не решались. Начальство, зная Николаев характер, выискало возможность кое-что ему приплачивать, чтобы поднатаскал парня по мотору и ходовой части. Так и получилось — ученик, вроде как для дополнительного заработка. А раз так — занимался Николай на совесть: халтуры он не терпел ни в чем.

Сейчас Василий стоял рядом с ним (сесть он не решался), широко улыбался, тряс руку — видно, по-настоящему рад встрече, помнит науку, благодарен за нее, и оттого воспоминание о деньгах, перепавших за Василия, Николаю было неприятно.

А Василий успел рассказать, что заочно учится в институте, недавно получил второй шоферский класс, работа идет нормально.

— Ну, конечно, разные бывают переплеты в нашей водительской жизни,— заметил он,— однако, по сравнению с Сибирью, все это детские игрушки... А про вас я читал. Герой вы, дядя Коля!

— Ну, я-то герой,— усмехнулся Николай,— а что же ты геройствовать не едешь? Или тебе Сибирь заказана по случаю морозов?

— Так ему учиться надо,— вмешалась Рая.— И не сбивай ты парня. У него дорога правильная. Все в свой черед.

— Добрая ты душа!— вздохнул Николай.— Только одно не рожла: если все учеными станут, кому ж тогда баранку крутить?

Эх, Сибирь... Герой он или кто, а что он там вкалывал на совесть — это уж точно. Все, конечно, законно. Он свое отработал. А все же нехорошо получилось. Зачем полез в бутылку? Характер у тебя, Николай Степанович. Тебе все отдай, что положено. А там — хоть трава не расти. А трава, она растет...

— Кончу институт, поеду, куда пошлют. В Сибирь. Или еще куда. А морозов не боюсь. И работы никакой не боюсь,— Василий от растерянности сел на стул, поспешно подставленный ему Раей.

— Ты, Вася, кушай, кушай,— засуетилась Рая, пододвигая ему тарелку.

Василий молчал, и Николай примирительно добавил:

— Ну, ладно. Прости, коли не так сказал. Ты, я знаю, парень стоящий. Давай-ка лучше выпьем.

Он налил Василию полную рюмку, кивнул головой: дескать, пей, и, усмехаясь одними глазами, смотрел, как парень, морщась, осушил рюмку и поставил ее на стол.

— А теперь закуси. Так-то оно лучше пойдет!

Николай и сам был не рад такому обороту разговора. Он хотел, чтобы все радовались, чтобы море было разливанное, и все видели, какой он есть человек. А Ваську он зря... Васька, конечно, ни Сибири, ни морозов не испугался. А когда поедет, почем платить будут — тоже не спросит. Это уж точно. Николай слишком хорошо знал таких ребят, чтобы ошибиться. Плевали они на рубли. У него самого были такие. Большинство таких. И что правда — то правда: эти ребята не подведут. Проверено. А как они чуют друг друга. Ему нужно пуд соли съест с человеком, чтобы узнать, на что он годится. А эти только повстречаются — один из Калуги, другой рязанский, а уж на тебе: друзья.

Николай только сейчас заметил, как Алешка подсел к Василию

и они тихонько завели свой особый разговор. А ведь Алешка и Василий — одна косточка, вдруг подумалось Николаю, как он про дорогу-то сквозь тайгу говорил. Да не про дорогу — об отце... Парню шестнадцать. Какой вымахал. Уж небось и понятие о жизни имеет. Попробуй ему объясни...

Николай задумался и не заметил, как Василий вышел из комнаты, как Алешка взял книгу и, сев к окну, углубился в нее, как Рая, убрав со стола, начала стелить постели.

Стало тихо, лишь будильник на комодке мерно отсчитывал секунды. И почему-то никто не решался нарушить это как-то само собой воцарившееся молчание.

\* \* \*

Николай проснулся, словно от толчка, и сразу же открыл глаза. Сквозь окно чуть просачивался тусклый, серый свет, и комната была залита полутьмой, с тенями и темными, почти черными углами. Он знал, что такое мутный рассвет, с леденящим тоскливым ветром за стеной, и приучил себя не думать в эти минуты. Как проснешься, надо было вскакивать, умываться, двигаться, шуметь, будить ребят — и тогда не успеешь оглянуться, как ты уже в машине, за рулем, а там уж не до мыслей...

Но сейчас вставать было ни к чему, не было ветра и мороза, и ребят, в комнате было тепло, и тикали часы, и под головой была чистая, белая, теплая подушка, и рядом Рая, и ее рука на его плече. Он только сейчас заметил, что ее рука на его плече. Такая легкая, совсем без тяжести — только тепло от нее. Николай вспомнил — и защемило сердце, так давно это было, — как, просыпаясь, чувствовал на своем плече Раину руку и боялся двинуться, чтобы не разбудить ее. И как, сдерживая дыхание, думал о Рае, восстанавливая в памяти, час за часом, прошедший день. Что говорила, когда провожала утром на работу, и как махала рукой, сначала с лестничной площадки, а потом из окна — будто он уходил не на день, а уезжал надолго. Чудно, но вспоминалось именно давнее — первые годы их самостоятельной жизни. Здесь, на Самотеке. Тогда им было море по колено — лишь бы вместе, лишь бы ему знать, что Рая ждет, что она всегда с ним.

Стало светать. Надо вставать, все равно больше не уснуть. Николай чуть подвинулся, и Рая сразу открыла глаза. Какое-то мгновение в них еще стоял сон. Она глубоко вздохнула, положила руки под голову. Потом лицо ее собралось, между бровями обозначилась складка. Вроде бы вспомнила что-то. Или задумалась. О чем?

— Знаешь что, — сказал вдруг Николай, — давай сегодня махнем куда-нибудь, возьмем Алешку... Я ведь забыл, какая она, Москва.

— Сегодня воскресенье...— Рая приподнялась на локте и, глядя на Николая, чуть склонив голову, повторила: — И правда, Коля, ведь сегодня воскресенье...

Помедлив, Николай сказал:

— Значит, заметано.

За завтраком он уточнил свой план. Для начала махнут в центр, на улицу Горького, потом — площадь Свердлова. Зайдут в Мосторг. Пообедают где-нибудь. А там — видно будет. Алешка молчал, а Рая все поддакивала Николаю. Для нее все было хорошо.

...Они пересекли Самотечную площадь, направились вниз по Цветному бульвару, к центру, мимо рынка, цирка, панорамного кинотеатра, где толпится народ, и вышли к Кузнецкому мосту. Традиционный воскресный маршрут, когда они с Раей заходили в магазины, присматривали, что купить, приценивались, хотя денег у них обычно не было. Впрочем, это больше огорчало продавцов, которые понапрасну тратили на них время. Рая же всегда умела радоваться всякой малости. И теперь, глядя сбоку на ее лицо с пробивающимися морщинками возле глаз, на истертый меховой воротник ее ношеного-переношеного пальто, Николай, кажется, впервые с такой остротой подумал о том, что не так-то легко все давалось ей. И то, что они с Алешкой, даже когда он сам мало зарабатывал, ни в чем не терпели недостатка, требовало от Раи всех ее сил и помыслов. Николай тихо сжал ее пальцы, и Рая, как всегда, чутко откликнулась — повернула к нему голову, улыбнулась.

На улице Горького Алешка потащил их в книжный магазин. Книгу он выбрал сразу же — видно, давно присматривался. Алешка был очень рад своей покупке — все перелистывал страницы, рассматривал картинки. Николай прочитал заглавие: «Телевидение? Это очень просто!» Прочитал — и усмехнулся. Просто. У них все просто. У таких, как Василий и Алешка.

Наконец они подошли к Мосторгу — главному пункту запланированного маршрута. Уж здесь-то Николай себя покажет. Чтобы знали, что такое — Сибирь. Во-первых, купят телевизор, Алешке — фотоаппарат, новое пальто Рае. Что захочет — за деньгами не постоит. О своих планах Николай нарочно не говорил. Чтобы получился эффект. Но странное дело — сейчас он не то чтобы потерял интерес к покупкам, но не было в нем той легкой радости, которую он так ясно представлял себе там, в Сибири. Телевидение. Это очень просто... Хорошо, конечно, купить. А можно и не покупать. Не в этом суть. Да, пожалуй, что так. Не в этом — а в чем?

В людском потоке их внесло в Универмаг. На первом этаже Алешка потянул к спортивному отделу. И тут (надо же, не успел выйти из дому, а уже знакомого встретил) Николай увидел дядю Костю.

Дядя Костя работал механиком в том же таксомоторном парке,

что и Николай. Еще до войны, когда Николай пришел туда, дядя Костя уже был ветераном, таким, как сейчас: седой, худощавый, сутулый, с большими темными узловатыми руками. И так же, как он Ваську, дядя Костя тогда учил его. Давно это было. Очень давно. А не забылось. Может, еще и потому, что Николай любил его. Побаивался и любил. Дядя Костя никому не навязывался в друзья, не лез в душу, на собраниях выступал редко. Но оттого, что он работал рядом с тобой, что мог вмешаться в любое дело, как-то легче, спокойнее жилось. Перед взглядом его голубых, очень светлых, старчески выцветших глаз нельзя было врать, «финтить», «крутить вола». Дядя Костя состоял в партии с 19-го года, его на пушку не возьмешь, и уж если что говорил — было по справедливости.

Рядом с дядей Костей стоял мальчишка лет двенадцати (внук, наверно) и, держа в руках лыжу, что-то горячо доказывал. Старик молчал и только покачивал головой. Потом вздохнул и махнул рукой: была не была! Ага, уговорил, значит. Парнишка-то, видно, хотел лыжи, какие подороже, а дядя Костя знал цену копейке.

Если бы он мог сейчас подойти к ним и купить ради старика эти чертовы лыжи! Да попробуй-ка. Старик так шуганет, что не обрадуешься.

Но подойти-то ты можешь. Подойти. Поздороваться. Потом и по маленькой на радостях пропустить. Но Николай представил себе, как обрадуется дядя Костя встрече, что он скажет, как, смотря на него в упор, начнет расспрашивать про сибирскую жизнь — представил это и опять вспомнил свой разговор с начальником мехколонны. Вспомнил — и сразу тот, другой человек, который не отставал от него, затеял свой прежний разговор.

Мог же Николай уехать, когда дорогу построят? Потому что там — тоже люди. Товарищи. Может, он их не увидит больше. Но прожитое — не зачеркнешь. Не забудешь. И законами не прикроешься.

Дядя Костя отдал чек и получил лыжи. Парень взял их и осторожно, будто стеклянные, понес к выходу. Николай увидел чуть сгорбленную спину дяди Кости, и вдруг сквозь гул голосов, шарканье ног, толкотню пробилась из какого-то далекого, казалось, навсегда забытого времени тишина того начинающегося дня...

...Они шли с отцом на рыбалку по бледной от ночного мороза траве, и Николай, ежась от холода, старался не отстать. Сон еще не совсем отпустил его. Густой, влажный туман, закрывший дорогу, оставлял на лице капли, забирался под воротник. Николаю казалось — не будет конца этому пути сквозь мглу и притаившуюся тишину. Он не заметил, как они вышли к берегу. Поднялся ветер. Отец расстелил брезент, усадил его и пошел разжигать костер. Николай задремал — ему чудилось, что они все идут, а речка отодвигается, и



было страшно оступиться, потому что по сторонам чернели ямы. И вдруг кто-то толкает его — он летит вниз. Николай поднимает голову и видит стоящего над ним отца.

— Проснись,— трясет его отец за плечо.— Проснись. Погляди.

Медленно, еще плохо соображая, он встает рядом с отцом. Окончательно проснувшись, оглядывается.

Из-за горизонта в белом накаленном кольце всходит красное солнце.

На той стороне реки, ближе к лесу, растекаясь в воздухе, клубятся у самой земли молочно-белые облака тумана.

И вдруг все словно застыло, остановилось, притаилось.

Только солнце медленно поднимается все выше, светлея и уменьшаясь. Над лесом оно становится розоватым и почти сливается с такой же розовой полосой, которая тихо разливается по небу. А потом посветлело, и Николай увидел реку, кусты на том берегу, почти незаметное пламя костра недалеко от него.

— Запомнишь?— спросил отец и, не дожидаясь ответа, чуть согнувшись, пошел к воде.

Вот оно как. Оказывается, запомнил. Сгорбленная, как у отца, спина дяди Кости уже скрылась в толпе. Да мало ли что вспоминается, подумал Николай, памяти не прикажешь.

Но смутно он чувствовал — то далекое утро, когда они с отцом смотрели, как поднимается солнце, имеет какое-то отношение к спору о том, в чем же суть. Ему ведь тоже хотелось что-то показать, что-то объяснить Алешке в этой жизни. Встать рядом с ним и, не боясь его глаз, с чистой душой сказать: запомнишь?

Может, когда-нибудь он и скажет. Только не теперь. Пусть сегодня идет, как идет.

Пусть сегодня будет так.

А — завтра?



### ПЕСНЯ ВЕЩЕЙ ПТИЦЫ

Это была обычная встреча.

Опираясь на перила, Валентин Николаевич медленно спускался вниз, а девушка вприпрыжку бежала вверх. Увидев его, она чуть замедлила свой бег, улыбнулась и помчалась еще быстрее. Он остановился, тоже кивнул ей. Потом двинулся дальше.

Так повелось: при встречах они не здоровались, а улыбались друг другу — может быть, потому, что она не знала его имени. А Валентин Николаевич помнил ее еще маленькой девочкой, которую звали, кажется, Леночкой.

Жили они на одной лестничной площадке, в смежных квартирах, и ему было хорошо слышно, как за стеной Леночка выводила свои

гаммы. Сначала самые простые: до-о, ре-е, ми-и... Туда, к верхнему до, и так же медленно, неуверенно обратно.

Потом — гаммы усложнились. Потом появились маленькие пьески, коротенькие и простодушные, вероятно, старинных мастеров. Валентин Николаевич помнил одно имя: Рамо. Он не был музыкантом. Он работал начальником отдела труда и зарплаты в министерстве. Но ему казалось, что когда-то, очень давно, он уже слышал эти пьески, и они звучали прихотливо и изящно, даже изысканно... Леночка же играла их очень старательно и робко и, наверно, очень боялась сбиться со счета. А если сбивалась, обязательно начинала все сначала...

В жизни Валентина Николаевича ничего особенного не происходило. А рядом росла музыка — быстро или медленно, он не мог этого сказать. Мы ведь не замечаем, как меняется то, что окружает нас постоянно. Но однажды, в начале осени, встретив у подъезда худую, некрасивую, длинноногую девочку с черной нотной папкой в руках, Валентин Николаевич поразился: он с трудом узнал ее, так она изменилась за лето.

Да, время знало свое дело. То самое время, которое без отдыха тклет пряжу жизни и смерти. Поднимаясь по лестнице, Валентин Николаевич слышал стремительные хроматические гаммы, изящные, отточенные пассажи, бурные каскады. Живой поток несли ему навстречу, и он останавливался, чтобы послушать. Моцарт, Бетховен, Бах, Шопен, Лист — он многое узнавал, и теперь ему чудился голос исповеди в давно знакомом. Признание в любви и взрывы отчаяния, торжество единения с миром и горькие упреки ему... Валентин Николаевич думал о том, что уже не одно поколение сменилось на земле с тех пор, как впервые обратились к миру те, кого называют Великими. И вот сейчас эта девочка, как множество других до нее, вслушивается в их голоса, всматривается в их лица.

Сегодня утром, увидев ее, легко и стремительно бегущую, словно летящую, вверх по лестнице, Валентин Николаевич подумал: а ведь она уже взрослая. Подумал и усмехнулся — что к этому добавить, кроме банального откровения: как летит время!

\* \* \*

Вся семья в сборе — Екатерина Григорьевна, Петька, Оля. Они сидят за столом. В бокалах налито шампанское, и Екатерина Григорьевна осторожно разрезает торт, который принес Петька, или, как теперь его называют, Петр Валентинович.

Все хорошо, но что-то Валентину Николаевичу не нравится. Почему-то Петька и Оля молчат и с интересом смотрят, как орудует Катя. Ему не нравится смущенная физиономия Петра Валентиновича и взгляды, которыми они обмениваются с Олей.

Валентин Николаевич начинает догадываться, в чем дело, но не стоит поддаваться дурацкому предчувствию. Нет, не предчувствию, а уверенности: Оля бросает вопросительный взгляд на Петьку. Тот ммурится, молча кивает головой.

— А вы и не спрашиваете, Екатерина Григорьевна, почему у нас такое торжество?— Олечка произносит это, лукаво улыбаясь. Ее голос звучит оживленно, милое лицо с тонкой нежной кожей чуть розовеет, и только глубоко в глазах Валентин Николаевич ловит мелькнувшую тень.

— Не спрашиваю, милая. Всё равно ты долго не вытерпишь и все скажешь,— отвечает Екатерина Григорьевна.

Она колдует над тортом. Почему вы не спрашиваете, Екатерина Григорьевна, почему вы не спрашиваете?— мысленно повторяет Валентин Николаевич. А, впрочем, зачем торопиться? Все равно ты, милая, долго не вытерпишь. И разве можно сейчас удивить Екатерину свет Григорьевну каким-нибудь новым торжеством?

Все эти дни и недели, с тех пор, как Петр привел в дом Олю, были постоянным торжеством Екатерины Григорьевны. Она торжествовала, потому что клеила новое гнездо. Просыпалась раньше всех, готовила завтрак, потом стучала «к ним» в комнату...

За столом хозяйничала Олечка. Екатерина Григорьевна только смотрела, как Олечка разливает кофе, как подкладывает в чашку мужа сахар (Оля считала, что работникам умственного труда сахар необходим в больших количествах, а ее муж, Петька, как-никак был инженером-конструктором), как готовила мужчинам бутерброды «с собой». Екатерина Григорьевна не могла сдерживать улыбки, когда слышала Олин голос, ее смех...

Петр даже подтрунивал над матерью: и чего только ты нашла в этой девчонке? Право же, ничего особенного — с характерцем, любит пофорсить, вот разве что прилично ходит на лыжах. Нет, мама, я просто не понимаю тебя...

Петьке было приятно так шутить, но главного-то он действительно не понимал. А Валентин Николаевич понимал. Его Катя начинала вторую жизнь, которая дана человеку,— жизнь через других.

Но вот, кажется, Екатерина Григорьевна заканчивает свою артистическую работу. Сейчас она выпрямится и окинет всех победным взглядом. Тогда уже сказать будет невозможно, и Оля торопливо произносит:

— Сегодняшнее торжество по случаю того, что Петр Великий получил комнату. Мы уже смотрели. Прекрасная комната. На солнечной стороне.

Нож застывает в руке Екатерины Григорьевны, и все тоже застывает. Как в кинематографе, когда лента вдруг останавливается. Это длится секунду, может быть, две. Потом Екатерина Григорьевна еще

ниже склоняется над тортом и продолжает свою работу — медленно и методично. Она ничего не говорит, только нож ее неторопливо двигается — к себе, от себя, медленно и методично.

Улыбка сползает с лица Оли, глаза гаснут — словно кто-то взял да и одним махом стер оживление с ее лица.

— Ну получили, ну и что,— поспешно говорит Петька, слегка побледнев.— Ну и что такого? Мы же еще не решили, когда переезжать...

Оля облегченно вздыхает. Теперь, когда главное сказано и все пошло в прежнем ритме, ей уже не так страшно.

— Как не решили? Это же рядом с заводом,— говорит она Пете.— Сколько времени, сил ты сейчас тратишь на дорогу!

— Конечно, милая, конечно,— спокойно отзывается Екатерина Григорьевна.

Валентин Николаевич встает, выходит из комнаты. Он не может себе представить, как Катя выпрямится, какое у нее будет лицо. Он идет на кухню. Открывает горячую воду. Потом холодную.

— Катя!— кричит он.— Катя! Что у нас тут с кранами? Когда же, черт побери, починят краны?

Он слышит быстрые шаги — как всегда, Катя спешит на его зов, готовая принять на себя все упреки, лишь бы в доме было все в порядке.

Позже, когда все разошлись и легли спать, Валентин Николаевич тоже прилег с книжкой. Он слышал, как ходила Катя из комнаты в кухню, что-то прибирала, готовила.

С давних пор, еще с юности, Валентин Николаевич привык обдумывать дневные происшествия ночью. Когда он лежал в постели с открытыми глазами, темнота помогала «видеть» — легче разматывался клубок впечатлений. И думалось как-то по-другому — углубленней, яснее. Валентин Николаевич отложил книгу и потянулся к выключателю.

Но темнота не дала ему ясности. Они хотят жить самостоятельно — что в этом плохого? Но почему Петька не предупредил, не подготовил мать? Ведь она только и жила тем, что они были рядом, что она могла слышать их голоса, и утром и вечером садиться за один стол и шептаться с Олей. Вот Петька и стал взрослым. Когда же это произошло? А что это такое — взрослый? Когда человек находит свое место в жизни, не нуждается в чужой помощи, чувствует себя уверенным?

Всю жизнь они с Катей готовили Петьку именно к этому. Они старались уберечь его от ошибок. Они научили его быть честным и сильным, помогли найти дело по душе. Им казалось — они научили его быть счастливым.

Но может ли счастливый человек причинить другому боль? А ес-

ли Петька не понимает, если он еще «не взрослый»? И опять Валентин Николаевич вспомнил свою встречу на лестнице с этой девушкой, как она летела вверх и как улыбнулась ему. Остановилась — и улыбнулась.

Она, как и Петька, как и Оля, летела вверх: у нее было очень мало времени — только остановиться и улыбнуться. Она, как и Петька, как и Оля, торопится, потому что очень хочет быть счастливой. И наверно, еще не понимает, в чем счастье — только предчувствует и ждет его. Они все очень торопятся, — вот в чем штука, вот почему они бывают бессознательно жестокими.

\* \* \*

Через несколько дней Оля с Петькой переехали. В квартире стало пусто. Екатерина Григорьевна ходила молчаливая, погруженная в свои мысли.

— Надо привыкнуть, — говорила она, отвечая Валентину Николаевичу. — Ты не беспокойся. Я привыкну. Я ведь не думала, что у нас будет так тихо...

Сколько раз за тридцать лет он слышал от нее: «Надо привыкнуть. Я привыкну».

Так она писала ему на фронт из Кирова, куда она уехала в сорок втором году и где ей с четырехлетним Петькой было и голодно и холодно, и страшно от мысли, что он, Валя, может погибнуть; так говорила она и в сорок пятом году, когда они вернулись в Москву, а квартиру уже заняли, и они временно жили в маленькой комнатке у ее сестры — шесть человек в четырнадцати метрах, а год был трудный, голодный.

Когда еще она говорила так? Валентин Николаевич не мог припомнить. В общем их жизнь сложилась неплохо и, вероятно, даже счастливо. Валентину Николаевичу вспоминалось не это «надо привыкнуть», а другое, которого было бесконечно больше, когда Катя одаривала всех своими лучами...

А вот теперь она опять твердит, убеждая себя, — я привыкну... Валентин Николаевич знал, что так и будет. Катя обязательно «привыкнет». Так уж она устроена. Ведь будет же у Петьки и Оли ребенок, мальчишка, например, — внук.

Тогда-то им без Кати не обойтись.

\* \* \*

В эти дни в Москву уже пришла весна. По-городскому, по-московски — мягко ступая, ласково улыбаясь... Что бы там ни говорили, а весной после долгой зимы мир словно заново раскрывается. И

сколько бы весен ты уже ни пережил — все равно ты ее чувствуешь, как новую, неожиданную и таинственную; и все равно, хотя у тебя уже и седая голова и пошаливает сердце, ты чувствуешь, как прибавляются силы, потому что будь тебе хоть сто лет — раз ты живешь, значит и обновляешься вместе со всем и со всеми.

А теплое солнышко с каждым днем все щедрее заливало улицы, и небо было чистое и голубое, и в воздухе чувствовался почти не слышимый в шуме города звон ручьев. Влажно блестели черные деревья, еще не успевшие обсохнуть после снега. И в людях, которые работали вместе с Валентином Николаевичем, тоже что-то неуловимо изменилось. Валентину Николаевичу не хотелось думать, что для него это последняя общая весна с людьми, с которыми столько лет они вместе работали. Летом он уходит на пенсию. Становится вольной птицей. Или говорят еще — вольный казак. Пожалуй, не стоило думать о том времени, когда он будет «вольный». В конце концов, это зависит только от него и, может, с «хворью» как-нибудь обойдется. Но сегодня, с самого утра, он опять почувствовал себя «неважнецки», так неважнецки, что понял: от положения «вольного казака» уже не уйти.

Часа два Валентин Николаевич просидел еще за своим столом, но потом все-таки решил отправиться домой и лечь. Пошел он обычным маршрутом — сначала вниз по переулочку, потом свернул на Лобковский, который вывел его к Чистым прудам.

Снег на бульваре растаял, только кое-где, в тени, лежали грязно-белые пятна. Кругом уже бурлили ручьи, и мальчишки пускали свои кораблики — чей скорей доплывет до старой, ветвистой липы с оголенными корнями, возле которых образовался тихий затон, великолепный открытый рейд для солидной флотилии.

Было интересно смотреть, как крутились и переворачивались на перекатах многомачтовые фрегаты, каравеллы, изящные бриги, и как упрямо они пробивались к «большой воде». Валентин Николаевич выбрал себе однопарусное суденышко и вместе с его капитаном — рыжим мальчишкой в лыжном костюме и зимней шапке — с замиранием сердца следил, как храбро борется маленькое суденышко с бушующей стихией.

Мальчишка этот, лет одиннадцати, видимо, был большой спец — его кораблик даже ни разу не перевернулся и, преодолев все опасности, первым пришел к дереву. Капитан осторожно взял свой парусник и небрежно сунул его в портфель. Как его ни просила целая ватага мальчишек повторить это плавание — ничто не помогло. Капитан явно не хотел искушать судьбу. Посвистывая и помахивая портфелем, он двинулся домой.

Пошел за ним и Валентин Николаевич. Но дойдя до середины бульвара, почувствовал, что устал. Снова, как утром, странно заколо-

тилось сердце и перед глазами поплыли зеленые круги. Валентин Николаевич присел на скамью. Через несколько минут ему стало легче, и он двинулся дальше.

Все так же светило солнышко, и на скамьях, возле детских колясок, переговаривались женщины, а возле ручьев шумели мальчишки и торопливо шли прохожие. Но теперь все это словно отдалилось — уменьшилось, потеряло четкие очертания, живые краски, будто пожухло. Валентин Николаевич еще не испытывал такого, ему стало страшно — а вдруг не дойдет? Он почувствовал, как ноги тяжелеют и в то же время становятся мягкими. Пришлось опять сесть и сидеть, пока не рассеялся обволакивающий туман. Но как только встал, появилась уверенность: дойдет.

Вот и метро. Даже тихим ходом минут через десять он будет дома. И все же идти становилось все труднее. Это от воздуха — острого, холодноватого, пьянящего — и от весны.

В подъезде своего дома Валентину Николаевичу стало совсем худо. Кое-как он добрел до второго этажа, но силы уже кончились.

— Вам плохо? — услышал он голос над собой. — Давайте я вам помогу.

Валентин Николаевич поднял голову: это была она, его соседка. Наверно, она летела вверх и остановилась, чтобы улыбнуться ему, потом подошла и испугалась. Но теперь-то он уже дойдет — остался один этаж.

— Ничего, ничего... Мне уже лучше, — сказал Валентин Николаевич. — Вот только постою немного...

Ему действительно стало лучше. Девушка неловко взяла Валентина Николаевича под руку, и они потихоньку двинулись вверх.

— Как же вас зовут? — спросил Валентин Николаевич, когда они остановились сверху.

— Валя, — ответила девушка.

— Вот как. А я почему-то думал — Лена. Я вас давно помню, и мне, знаете, казалось, что всех девочек с косичками зовут Леночками.

Валя засмеялась, и Валентин Николаевич сказал:

— А меня зовут Валентин Николаевич. Как видите, мы с вами тезки...

Когда Валентин Николаевич лег, выпил капли Зеленина и почувствовал, что до следующего раза прошло, он подумал о том, что теперь при встречах Валя будет не только улыбаться, но и здороваться с ним. Может быть, даже и перекинется словом. Жаль только, что они не поговорили и он так ничего не узнал о ней. Но что, собственно, он мог узнать?



Лето только начиналось. Валентин Николаевич подумывал об отъезде — на месяц-другой (теперь можно было захватить и сентябрь), но Катя не хотела ехать. Оля ждала ребенка, очень боялась, и Катя там, у них, дневала и ночевала. А ему часто ездить туда, к Петьке и Оле, было трудновато. Вот и получилось, что он оставался один. Но все-таки не совсем один: рядом, за стеной, была Валя и ее музыка.

Теперь, когда долгие дни он читал, ходил по комнатам, Валина музыка стала его постоянным спутником. Валя очень много занималась, с самого утра и потом днем, иногда и вечером. И каждый раз это была другая музыка. Утром она упражнялась — ее пассажи, стремительные гаммы звучали холодно, обязательно, как ежедневная физзарядка. Днем она разучивала, учила, несколько раз повторяла одно и то же место, чего-то добивалась — словом, работала. А вечером — играла. Для себя. То, что хотелось...

Когда угасает день и мысль углубляется... Должно быть, поэт прав. Такова власть вечера. А для Вали? Скорее всего, для нее вечер — это канун утра. Разве день угасает? Просто очень быстро кончается. Слишком быстро. Даже сделать ничего не успеваешь. Конечно, к вечеру немного устаешь — набегаешься за день — так бы она сказала...

Иногда, когда Валя играла, Валентин Николаевич пытался отгадать что. Это помогало убивать время. Он любил музыку и уж что-то, а интересные концерты в консерватории старался не пропускать. А теперь музыка была рядом. Очень близко. И совсем не такая, что звучала с эстрады. Другая — ошибающаяся, иногда неуверенная в себе, иногда тревожная...

По утрам Валентин Николаевич выходил пройтись, а днем с книгой в руках сидел у открытого окна. Окно выходило во двор. В центре двора зеленел скверик, а напротив окна высилась полукруглая арка. То был вход и выход со двора, ворота в страну, которая называлась дом № 5/31.

Под сводами арки люди обычно останавливались и разговаривали. Выходили со двора по-разному — кто торопливо, кто размеренно, мальчишки — бегом, девочки — вприпрыжку. А входили почти все медленно: спешить уже было некуда. Пройти же через двор, полный голосов нянь и малышей, ударов мяча, топота ног — всегда интересно.

Двор — первая, самая главная зона дома и его суть: именно здесь, на асфальтовых дорожках, на скверике, на крутых коротких темноватых лестницах, ведущих в подвальные помещения, — ощущается весь дом со всеми его заботами, интересами, характером

жильцов и нравами. И чувствовать себя причастным к большому дому, к гомону и беготне ребят, даже если тебя ждет тихая квартира — очень приятно. Уж он-то это знает: около четверти века каждый день входил он в эту арку, шел через скверик, где копались малыши; или в обход, по асфальтовой дорожке, искал взглядом Петьку... А потом, когда двор перестал быть Петькиным царством, узнавал таких же Петек в другом поколении мальчишек — бесменных хозяев двора...

Валентин Николаевич уже знал, когда возвращается Валя — примерно в одно и то же время, ближе к вечеру. Обычно она шла, как все, неторопливо и, если видела его в открытом окне, останавливалась и махала рукой.

Вскоре у нее начались экзамены — Валя училась на втором курсе консерватории, — и, возвращаясь домой, она показывала Валентину Николаевичу пальцами, сколько получила: пять, четыре, три...

Однажды Валя не подняла голову, не посмотрела на его окно: рядом с ней шел парень, высокий, стройный, темноволосый, в светлом плаще. Они прошли через двор к подъезду, потом вернулись, остановились под аркой и там долго разговаривали. Потом очень медленно снова пошли к подъезду.

Начало темнеть.

— Коля! Домой! Отец пришел, — крикнула женщина из окна этажом выше. Голос прозвучал протяжно и умиротворенно. Удивительно: все женщины созывают своих детей одинаково — спокойно и как-то горделиво. И все обязательно говорят (если могут это сказать) — отец пришел...

Сколько тысячелетий человечество вырабатывало этот клич к очагам? Ну, а Коля, конечно, не обратит внимание на призыв. По крайней мере, с первого раза. И правда, — через несколько минут послышалось снова:

— Негодный мальчишка! Сколько раз тебе говорить! Ну, погодите же...

Темноволосый, стройный парень в светлом плаще пересекал двор. А Валя, вероятно, стояла в подъезде и смотрела ему вслед. Парень шел через скверик — так короче. Оглянется? Нет, не оглянулся.

Теперь Валя, наверно, уже дома. Она подошла бы к окну, но ее окно выходит на улицу, и Валя не сможет увидеть, как парень пересекает улицу.

Стало заметно темнее. А за стеной зазвучала вечерняя музыка. Валя играла. Для себя. Что-то знакомое. Очень знакомое, хотя и похожее на импровизацию — так легко и свободно двигалась мелодия, изгибаясь и стремясь вверх, и еще вверх, и потом в сторону, чтобы не упасть, удержать высоту, чтобы был полет... И каза

лось, эти неожиданные изгибы и узоры, словно неразгаданные письмена, могли бы много рассказать, очень много...

Нет, конечно, это не импровизация. Форма совершенная — в красочной, роскошной мелодии, похожей на ветвистое дерево, в шумящей, переливающейся на солнце листве ни одного лишнего листочка, ни одной лишней нотки. Но что же это? Кто вот так до нее, до Вали, вопрошал судьбу?

Вдруг мелодия оборвалась. Тишина. Не пауза, а тишина глубокой сосредоточенности. Быть может, тишина ночного леса. И снова возникает мелодия, но уже совсем другая — неторопливая и размеренная, без сверкающих красок, в теплых, мягких тонах, чуть приглушенная. Размышление, а может — воспоминание. А может быть, это и есть отгадка...

\* \* \*

— Итак, мы едем в Сибирь. Целым курсом. На уборку хлеба.

Не дав Валентину Николаевичу вставить слово, Валя залпом выложила все подробности. Отправление — завтра. Сбор их группы — здесь, во дворе, в семь ноль-ноль. Конечный пункт назначения — Камень-на-Оби (название-то какое: Камень-на-Оби!) А маршрут! Поездом до Новосибирска, через Урал, через границу Азии и Европы, а отсюда, от Новосибирска, пароходом вверх по Оби до Камня. А уже там их распределят по совхозам Каменского района.

Валентин Николаевич достал географический атлас и нашел Камень-на-Оби — как раз на границе Алтайского края и Новосибирской области.

— Ну что ж, это будет интересное путешествие, — сказал он. — Чертовски интересное. Только что вы там будете делать?

— Хлеб убирать, — ответила Валя. — Для этого и едем.

Валя первый раз была у Валентина Николаевича — она забежала, чтобы сказать, что завтра в семь ноль-ноль уезжает на два месяца — и теперь с любопытством оглядывала его комнату.

Книги. Еще книги. Какой-то особенный радиоприемник (это Петька, мой сын, соорудил — Валентин Николаевич следил за ее взглядом и сразу отвечал ей), портрет красивой женщины, написанный маслом, в строгой, классической манере (моя жена, Екатерина Григорьевна), большая фотография худощавого парня с озорными глазами — ну, а это и есть сам Петька...

Валя вглядывалась. Она старалась понять чужую жизнь. Ведь чужой дом, как целая страна: свой уклад, свои законы. Никогда раньше она не думала об этом, а теперь старалась понять — что-то узнавала, как будто видела все это раньше, очень давно, а что-то открывала для себя. Например, портрет этой красивой женщины с темны-

ми глубокими глазами — от него веяло чем-то неизменным, неуходящим... И Вале вдруг подумалось: пока этот портрет будет на месте и глаза этой красивой, чуть улыбающейся женщины будут так легко, так хорошо смотреть на тебя — в этом доме ничего не изменится. Не может измениться. А сам Валентин Николаевич? Был ли он когда-нибудь другим, таким же молодым, как эта женщина?

Вале казалось — она знает Валентина Николаевича давно, очень давно, с самого детства — и всегда он был такой, чуть сгорбленный, седой, худощавый, нахохлившийся, как птица в дождь, но не страшный. Как добрый волшебник, который все знает, потому что живет уже тысячу лет...

— Тысячу лет...— вслух произнесла Валя.— Это много, тысячу лет?

— По-моему, даже день — много,— ответил Валентин Николаевич.

Он почувствовал что-то новое в ее настроении, какую-то тревогу и сразу вспомнил: ведь он хотел спросить у Вали, что она играла в тот вечер, когда во дворе впервые появился парень в светлом плаще. Но сейчас он решил, что спрашивать не будет.

Валентин Николаевич много раз видал родителей Вали, молодых и одетых по моде. Они всегда торопились и были, по-видимому, целиком поглощены своей жизнью. Дружит ли Валя с ними?

А Валя все никак не могла наглядеться на портрет этой женщины с ласкающими глазами. Где она сейчас и почему Валентин Николаевич один? Странно: сколько времени они знают друг друга, а ни о чем не спрашивают. Может быть, так и предполагается? И вдруг Валя подумала: а что будет с ним, с Валентином Николаевичем, когда она уедет? Она впервые так подумала о своем отъезде — не о себе, не о том, что ее ждет, а о старике, который живет рядом с ней.

Вслух Валя сказала:

— Да, тысячу лет это много, а два месяца не очень. Они пройдут быстро, очень быстро, и я приеду.

— Конечно,— согласился с ней Валентин Николаевич,— они очень быстро пройдут.

— Ну, мне пора. Надо собираться.— Валя встала и протянула руку Валентину Николаевичу.— До свидания. Только не болейте тут без меня.

\* \* \*

Разные дома просыпаются в разное время. Дом № 5/31 просыпался не раньше восьми, но сейчас, в семь ноль-ноль, во дворе было уже шумно. Валин дом лежал на пути к Казанскому вокзалу, и поэтому ребята решили собраться у нее во дворе.

Валентин Николаевич тоже спустился вниз, но Валя еще не

пришла, и он сел на свободную скамью. Ребята и девушки в тапочках и лыжных брюках целиком оккупировали скверик. Они стояли и сидели небольшими группами, громко переговариваясь, перекидываясь остротами, пересмеиваясь,— словом, шумели вовсю. В несколько минут они ухитрились превратить скверик в некое подобие походного бивуака, короткого привала на большом маршруте — рюкзаки как попало были брошены на землю; на скамейках валялись куртки, удочки, рыболовные принадлежности; кое-где, расстелив газету на скамейки, ребята быстро закусывали, в ход пошли припасы «на дороту», аккуратно упакованные мамашами. Появились пустые банки, огрызки хлеба, яичная скорлупа.

Все шло своим чередом.

Но вот того темноволосого парня в светлом плаще среди ребят не было. Может, запаздывает?

Посидев немного, Валентин Николаевич встал, обогнул скверик, вышел на улицу. На углу остановился — минут на пять, не больше, и повернул обратно.

Парня нигде не было.

Когда Валентин Николаевич вернулся во двор, Валя, одетая, как и все девушки, в брюках и куртке, сидела на скамейке и старалась изо всех сил так же, как и все, громко говорить и смеяться. Она очень старалась. Ее мать, уже начавшая ползнуть дама с красивым лицом, стояла рядом.

Валя бросилась к Валентину Николаевичу:

— Как хорошо, что вы пришли!

Она потащила его к ребятам и стала шутливо представлять Валентину Николаевичу своих товарищей. Последней протянула руку Валентину Николаевичу Валина мама, сказав ему что-то полагающееся в таких случаях.

А парень все не шел.

Вероятно, он был не с их курса, а может, и вообще не из консерватории. И, вероятно, никто из Валиных друзей о нем ничего не знал, потому что, кажется, ребята уже никого не ждали. Просто Валя старалась, как могла, тянуть время и не смотреть в сторону арки.

— А что, други, кто знает, чего мы, собственно, ждем?— спросил высокий худющий парень в очках с толстыми стеклами.— Той роковой минуты, когда уйдет поезд?— И вдруг, приложив ладони ко рту, протяжно крикнул:— По ко-о-оням!

Лицо у Вали дрогнуло, но она сразу взяла себя в руки: по коньям, так по коньям...

Валентин Николаевич посмотрел туда, где арка. Пока разберут вещи и наденут рюкзаки, пройдет несколько минут — пять или десять, и мало ли что может случиться за эти минуты...

Но ничего не случилось. Валентин Николаевич, идя рядом с Вале́й, проводил ребят до угла и видел, как они переходили улицу и потом садились в троллейбус. Он видел Валину спину с туго набитым рюкзаком, и очень хотел, чтобы тяжесть, которую Валя увозила с собой, не пригнула ее.

\* \* \*

Вечером того же дня, дома, когда Валентин Николаевич читал какую-то книгу, он вдруг вспомнил, что именно играла Валя накануне своего отъезда. Конечно, это была «Песня вещей птицы» Шумана. Валентин Николаевич отложил книгу и задумался.

Ночью его разбудил телефонный звонок. Улыбаясь (Валентин Николаевич понял по голосу, что она улыбается), Катя сказала ему, что у Оли родилась девочка. Все прошло отлично. Оля чувствует себя прекрасно, и девочка чудесная, с синими-синими глазами, и вес замечательный — три восемьсот...

Катя помолчала (Валентин Николаевич понял, что пауза «артистическая», для эффекта) и, продолжая улыбаться, объявила: а назвали ее Вале́й, в честь его, деда. Ведь это же счастливый случай, что девочку можно назвать в честь деда!

— Запомни,— сказала Катя на прощанье,— что ты теперь дед!

Потом трубку взял Петька и почти слово в слово повторил то, что сказала мать, и про вес, и про синие-синие глаза, и про то, что девочку назвали Вале́й в честь его, деда...

На следующий день, ранним утром, Валентин Николаевич ехал на такси в больницу. Машина неторопливо катила по тихим, прохладным улицам с редкими прохожими, и Валентин Николаевич думал о том, что, быть может, ему повезет, его пустят туда, и он увидит Вале́ю, которую назвали так в честь его, деда. И что очень скоро эта Валя будет хватать его за палец, улыбаться и тянуться к нему. А потом она, так же как та, другая Валя, сделает первый шаг и упадет, и встанет, и начнет карабкаться вверх, со ступеньки на ступеньку; и научится сначала бегать, а потом — летать...

И когда-нибудь, хотя до той поры немало воды утечет, эта Валя с синими-синими глазами перед дальней дорогой станет так же вопрошать судьбу.



## ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ Вместо предисловия

Публикацию этих немногих страниц из дневника мне хотелось бы предварить несколькими замечаниями. Во-первых, я не могу сказать, что сам дневник предстает перед читателем в своем первоизданном виде — кое-что пришлось опустить, кое-что слегка изменить, что, впрочем, никак не повлияло на существо рассказанной истории. Разумеется также, что изменены имена действующих лиц и некоторые второстепенные обстоятельства, сопутствующие событиям, о которых говорит Вика Колесникова.

Остается прибавить, что мне не удалось уговорить Вику включить сюда же, хотя бы выборочно, те места из дневника, где она

высказывает свои мысли о прочитанном и увиденном — о поэзии, об искусстве, о людях, которые поразили ее воображение...

Очень жаль — это бы значительно обогатило представления читателей об авторе дневника. Но делать нечего. Как говорится, хозяин — барин.

И — последнее. По моей настоятельной просьбе Вика познакомила меня с Марией Игнатьевной — одним из главных действующих лиц этой истории. Некоторые наши беседы с Марией Игнатьевной я записал и кое-что сжато передаю здесь — то, что относится к делу.

Вот, пожалуй, и все. А теперь представим себе небольшой старинный городок, не очень далеко от Москвы, где течет неспешная жизнь, есть река, и много тополей, а на окраинах сохранились тихие улицы с одноэтажными домами и перед ними палисадниками, пестреющими летом яркими цветами.

\* \* \*

Ее чай давно остыл, но рука еще машинально помешивает ложечкой в стакане. За окном шумит дождь. Тяжелые капли бьют в окно, и от этого тихая, чистая, аккуратно прибранная комната кажется особенно уютной. В дальнем углу, за чертой освещенного круга, письменный стол. На нем стопки аккуратно сложенных книг, журналов. Взгляд Марии Игнатьевны устремлен туда, в этот темноватый угол...

Она сидит прямо, собранная, тщательно одетая, — кажется, совсем еще молодая, начинающая сесть женщина.

— Вот так все произошло... Теперь это прошлое. Ошибка исправлена. Выяснились недоразумения, распутан клубок стечения обстоятельств. Много людей вступились за правду и справедливость...

Она говорит медленно, спокойно, как бы раздумывая. И я понимаю — говорит для себя. Может быть, слишком спокойно. Но так ей легче...

— Да, все устроилось. Кирилл, как мы хотели, учится в университете. И моя жизнь течет по-прежнему. Но ночами, когда не идет сон, я все вспоминаю то лето, день за днем, хочу понять, когда, как, с чего все началось, ищу и не нахожу... И тогда мысленно возвращаюсь к тем далеким годам, когда отец Кирилла, оставив меня с двухлетним малышом, уехал в Москву.

Мне было тогда двадцать три...

У меня не было специальности, я жила интересами мужа. Он был талантлив, и я гордилась им. В том, что он должен был совершить, была бы и моя доля, мой труд.

Разное вспоминается с той поры... Кирилл родился, когда его отец кончал аспирантуру. Потом он защитил диссертацию и уехал в



Москву — мы с Кириллом мешали ему целиком отдаться науке. Он писал мне, присылал деньги — они всегда для него мало значили.

...В ту ночь, когда он уезжал, шел дождь, бесконечный дождь, и отец Киры шутил — на счастье. Есть такая примета — дождь перед дорогой на счастье. Он говорил, что уезжает на год, но я знала — навсегда... А Кира плакал — очень хотел поехать с ним. А потом уснул, вот в этом кресле. Какая это была ночь... Кира спал, а я смотрела на него и думала, думала... Я не знала, как жить дальше, что делать... Не знаю, что было бы, если бы не Кира. Я нашла в себе силы жить — ради него.

Потом поступила на курсы бухгалтеров — до замужества я кончила почти три курса планово-экономического института. Я стала бухгалтером. Заочно окончила институт. Мне доверили большую работу.

...Кирилл уже учился в школе. Мы очень любили вечера, когда оставались дома. Бывало, уголком глаза я тихонько наблюдала, как он читает, подперев голову, иногда покусывая карандаш. Я видела его глаза, когда он поднимал голову от книги, его чистый лоб, и я верила, что он правдив, добр, талантлив. Мне казалось — моя жизнь оправдана.

В седьмом классе он увлекся математикой и физикой, побеждал в олимпиадах, начал переписываться с одним крупным ученым из Московского университета. В нашем небольшом городе о Кирилле заговорили. Даже в газете написали.

Потом появилась Вика, его одноклассница... Помню, как она первый раз пришла к нам сердитая, разгоряченная от спора (она и потом всегда препиралась с Кириллом по всякому поводу), и как потептели ее глаза, когда она увидела нашу комнату, этот угол, где занимался Кирилл, его книги. И как Кирилл, отозвав меня в сторону, шепотом, краснея и волнуясь, попросил меня приготовить что-нибудь к чаю...

Чем он жил тогда, что любил, к чему стремился? Я была уверена, что все знаю, что ни одна его мысль, ни одно настроение не ускользают от меня.

Времени — вот чего стало не хватать Кириллу. Ему так много нужно было успеть, узнать, освоить! Как жить, чтобы не терять попусту ни одной минуты? Попусту... Что это означало? Встречи с товарищами? Книги, если они не нужны ему, как будущему ученому? Дважды он с восторгом прочитал статью крупного ученого, где говорилось о цене времени для ученого. Она утвердила его, развеяла сомнения. Все для науки, каждый день, каждый час — только тогда он сможет что-то сделать, чего-то добиться.

Добиться — мне не очень-то нравилось это слово. Оно слишком напоминало мне его отца. Но какой смысл Кирилл вкладывал в него? Я успокаивала себя: так ли уж худо, если мальчик в семнадцать

лет хочет заявить о себе, ставит перед собой большую цель. Придет время, думала я, и Кириллу откроется и другая сторона жизни, связанная с духовными исканиями, с моральной ответственностью перед людьми, обществом...

— Скажи мне,— спросила я его в один из вечеров, когда мы были с ним вдвоем,— а время, проведенное с друзьями, ты тоже считаешь потерянным?

— Да,— ответил он, не отрываясь от книги.

— А с Викой?

Кирилл поднял голову, словно услышал что-то неожиданное, помедлил и снова уткнулся в свои страницы.

— А со мной?— упрямо продолжала допытываться.

— Это другое дело...— он сказал это неуверенно, очевидно, чувствуя, как колеблется почва под его теорией...

Ну, что ж, подумалось мне, вероятно, так устроена жизнь: когда мы молоды, мы, не раздумывая, берем все, что сделано до нас и для нас, и, лишь повзрослев, начинаем отдавать... И начинаем понимать, что жизнь другого человека — это целый мир, что отгородившись от людей, мы теряем себя. Юность эгоистична, утешала я себя. И все же я чувствовала: в моих рассуждениях что-то не так, что-то не сходится. Ведь его товарищи жили не так.

А Кирилл? Неужели наука для него — это он сам в науке?

После разговора с ним я впервые так прямо начала думать об этом. И чем больше я присматривалась к Кириллу, тем сильнее росла моя тревога. Я чувствовала: все, что находится за пределами его интересов, его мира математики и физики, просто перестает существовать для него, теряет всякий смысл.

Я ошибаюсь? Сужу слишком строго, слишком лично? Может быть... Но мне становится страшно, когда я думаю о том, что произошло. Как он будет жить дальше, чем будет мерить свои поступки?

Мария Игнатьевна замолкает, задумывается. И вдруг, словно стряхнув с себя оцепенение, неожиданно говорит, и в голосе ее звучит затаенная надежда:

— А может быть, это все-таки возрастное? Мальчишеская корь? Он «переболеет» — и все пройдет... Бывает же всякое в этом возрасте, правда?

### Из дневника Вики

18 июня.

Итак, школа позади! И как будто судьба ждала этого момента, когда я сдала последний экзамен, произошло то, о чем боялась и думать... Я еще не могу разобраться в этом, не знаю, как теперь

сложится моя жизнь. Попробую написать все как было, хотя мне это очень трудно.

Мне было так хорошо, так радостно, когда я бежала вниз по лестнице, а Кир, как всегда, ждал меня в школьном садике. Он сдал экзамен утром, раньше всех, и ушел из школы. Потом из окна класса я видела, как он появился во дворе и затеял с малышами возню. А теперь он ждал меня, и будто что-то пело, звенело во мне, хотелось куда-то идти, бежать, все равно куда, лишь бы не сидеть на месте.

— Все в порядке?— спросил Кир и засмеялся, потому что спрашивать было не надо. Мы пошли к реке. День был чудесный — не жаркий, очень светлый, с белыми кучками облаков и глубоким, глубоким небом.

— Давай уплывем,— сказала я.— Далеко-далеко...

— На край света?— спросил Кирилл.

— Да.

— В Лапландию?

Я кивнула. Мне захотелось, чтобы сейчас началась сказка — Лапландия, Лапландия, гусиная страна! И пока Кир отвязывал лодку, я представила себе, как мы с ним плывем далеко, неизвестно куда, со всякими приключениями, и как Кир защищает меня...

Он греб, а я смотрела на воду, на серебряные блики, которые переливались и сверкали, как живые, а когда закрывала глаза, слышала скрип уключин и плеск воды, и какие-то далекие голоса на берегу... Потом долго-долго смотрела на небо, и мне казалось, что я делаюсь все меньше и легче, еще чуть-чуть — и меня не останется совсем, только одно небо кругом.

Я сказала об этом Киру. Он усмехнулся...

— Типичные высказывания эмоцика.

— А кто такие «эмоцики»?— спросила я.— Такие допотопные чудища — вроде динозавров?

— Вот именно,— ответил Кир.— И, как динозавры, обреченные на вымирание. К примеру, твой Андерсен, Ганс-Христиан. Мне искренне жаль его. Наверно, он был способен не только на свои красивые сказочки — мог бы заняться чем-нибудь стоящим, а?— он усмехнулся.— Как думает комиссар?

Вот всегда он так — лишь бы позлить меня.

— Сколько лет я тебя знаю, Кир?— неожиданно спросила я.

— Пять, десять, тысячу,— ответил он.

— Ну, вот. Целых тысячу, а все не могу понять, шутишь ты или вправду такой...

— А я хочу, чтобы ты поняла,— Кир произнес это так, что у меня все оборвалось.— Ведь ты для меня...

— Подожди. Не надо,— наверно, так я сказала ему, потому что

у него вдруг пропал голос.— Скажи, когда я уйду. Ладно? Громко. На весь мир. И много раз...

Потом мы гуляли, пока не стало темно. И молчали. И только когда подошли к моему дому, Кир проговорил:

— Считай, что я это сказал. Много, много раз...

Он поцеловал меня, и я убежала.

**15 июля.**

Сегодня снова открыла свою тетрадку. Хотела сказать — случайно, но это была бы неправда. Когда все хорошо и когда не происходит ничего особенного, я не могу и словечка написать. Сколько раз пробовала — не получалось. А эти три недели были наверно самыми лучшими в моей жизни! Мы с Киrom виделись каждый день — ходили купаться, катались на лодке, уезжали с ребятами на 65-й километр за малиной... Об этом с того раза не было сказано ни слова. Но для чего слова? Когда я вижу его лицо, улыбку, слышу его голос — и все во мне звенит от одного его взгляда?

Через неделю Кир должен уехать в Москву — сдавать экзамены в университет. Его там уже знают как победителя заочной математической олимпиады. Даже письмо прислали — вроде приглашения, неофициального, конечно. А я остаюсь и буду поступать на медицинский. Встретимся зимой, в каникулы, и тогда... Но об этом я не хочу думать — ведь еще целая неделя!

Сейчас я была у Кира дома. Всю вторую половину дня он как всегда занимался. Когда я вошла в комнату, Мария Игнатьевна сидела за столом. Она подняла голову — и у меня сжалось сердце: такое было у нее лицо! Я бросилась к ней: что-нибудь случилось?

— У мамы неприятности,— сказал Кир.— Ревизия вскрыла какие-то махинации на складах горторга, и этим делом занялась ОБХСС.

— Ну и что?— спросила я.

— Да ведь мама бухгалтер — финансово-ответственное лицо.

— Ну и что?— снова вырвалось у меня. Я не могла понять, какая связь между махинациями на складе и Марией Игнатьевной.

— Вот и я говорю!— закричал Кир.— Все знают, что мама честный человек! Всем ясно, что ее провели какие-то проходимцы. Уверен, все скоро выяснится. Те, кому полагается, найдут концы, разберутся, и все встанет на свое место.

Мария Игнатьевна молчала. Она смотрела остановившимися глазами на меня, на Кира — и не видела нас. Никогда еще она не была в таком состоянии. Мне стало страшно.

— Как же быть, Кир? Что же делать?— спросила я, когда мы вышли с ним на улицу.

— А что мы можем сделать? Здесь нужны факты, а не эмоции... Одно я знаю: раз мама не виновата, значит, все будет в порядке.

Дома я пробовала читать, даже взяла Лермонтова, но не смогла понять ни одной строчки. У меня так и стояло перед глазами серое, с застывшим отчаянием и остановившимся взглядом лицо Марии Игнатьевны.

Если все так просто, как говорит Кир, почему же у нее было такое лицо? А может, он хотел уверить себя в том, в чем сам сомневается? Но — для чего?

**19 июля.**

Мария Игнатьевна взяла себя в руки и держится хорошо. Она сказала, что теперь, когда началось следствие, ей стало легче. А о своем разговоре со следователем — ни слова. На все наши расспросы с Киrom только и ответила: следователь — человек умный и хочет во всем объективно разобраться.

— А подписку о невыезде все-таки взял, — и горько усмехнулась.  
— Формальность, — глухо сказал Кир, — служба такая.

**21 июля.**

Вчера вечером рассказала все отцу. Он долго молчал, потом проговорил: не нравится мне эта подписка о невыезде. Потом раскурил свою трубку, спросил:

— А Кирилл что думает делать?

Я хотела сказать — ничего — но не смогла, только пожала плечами.

Отец не ответил. Он курил и смотрел, как у потолка растекается дым. И вдруг сказал:

— Ну, а ты-то что?

Я ждала этого вопроса, но ответила так, будто только сейчас пришло мне в голову:

— А если мне пойти к следователю и рассказать все, что я знаю о Марии Игнатьевне? Она же честный, она... замечательный человек!

Я выпалила это одним духом, смотря в пол. А если отец просто-напросто высмеет меня, как несмышленную девчонку? И правда — что бы я ни говорила следователю, к тому делу это все равно не будет иметь ровно никакого отношения. Там нужны факты, а не эмоции...

Отец помедлил (я чувствовала — он пристально смотрит на меня) и, наконец, сказал негромко:

— Что же, дочка, действуй.

**23 июля.**

Мне очень трудно писать — хоть бы забиться куда-нибудь в уголок и нареветься, как раньше, когда я была маленькой. Но не могу плакать. Только как-то холодно, пусто внутри. Хочу рассказать все, как было. Всю правду. Для себя. Может быть, потом когда-нибудь пойму, почему мне так тяжело...

Да, надо только написать все как было — будто я ни при чем и смотрю на это со стороны.

Так вот, на следующий день после разговора с отцом я пошла к следователю. Не буду описывать, чего стоило найти того, кто мне нужен. Это неважно. А страшно было только одну минуту, пока говорила, кто я и зачем пришла.

Следователь не удивился. Он усадил меня и, не перебивая, выслушал все, что я сказала. Потом начал спрашивать обо мне — о нашем классе, об учителях, о моих родителях. Он спрашивал, ходил по кабинету, подолгу стоял у окна, снова ходил... Потом вдруг остановился около меня:

— Ну, что же, Вика, ты правильно сделала, что пришла. Спасибо. А ведь трусила наверно?

— Я вообще трусиха,— призналась я,— даже пивок боюсь...

Он засмеялся и протянул мне руку:

— А к экзаменам готовиться надо, не то провалишься, год потеряешь. Обещаешь заниматься?

Теперь я понимаю, почему он говорил со мной так, как с маленькой. Заниматься. Провалишься. И — ни слова о Кире.

Я ответила.

— Попробую. А с Марией Игнатьевной очень опасно?

— Сказать по правде — опасно. И очень. Так все хитро сработано, что и концов не найдешь,— следователь вздохнул, нахмурился.— Все у них продумано, предусмотрено. Люди бывалые, с опытом... А ты все же постарайся взять себя в руки.

— Постараюсь.

Вот когда я по-настоящему поняла, в каком трудном положении оказалась Мария Игнатьевна. Я побежала к Киру. Он был один. На столе лежал открытый чемодан, учебники, мыльница. Кир молча протянул мне телеграмму.

Я машинально взяла ее, прочла, но ничего не могла понять.

— Из университета. Просят немедленно выехать,— сказал Кир,— меня зачислили сдавать в первый поток. Если опоздаю — все сорвется — и целый год к чертям. Ты понимаешь, что такое год.— Он говорил, будто забивал гвозди в железо, бил, а они не забивались, словно не мне говорил, а себе.— Да, знаю, что скажешь. Знаю. Но ведь все в конце концов устроится. Не сомневаюсь. Иначе не может быть. Ну, ладно, хорошо. Предположим — я остаюсь. Что меняется? Да ровным счетом ничего!

— Ничего?

— Ну, да — ничего. Ничего не изменится...

Он говорил, а я все пяtilась и пяtilась к двери, пока не оказалась на лестнице. Он кричал мне что-то вдогонку, но я сколько было силы бежала вниз и потом по улице...

Рано утром я пошла к Кириллу. Еле дождалась, пока рассвело, пока на улицах появились первые прохожие. Могло же мне все это присниться? Могло же произойти какое-то дикое недоразумение? Ведь бывает же так, всякое бывает! А потом мне вдруг пришло в голову — у «Березовой» поезд останавливается на две минуты. Это сорок километров от нашего города. Кирилл может сойти и добраться обратно на попутных машинах. Или пешком. Чемодан выбросить, чтоб не мешал. Если идти семь километров в час — к утру придешь.

Бывает же у людей такое. Как затмение. Когда не знаешь, что делаешь. А потом вдруг поймешь. Я бежала и надеялась — сейчас увижу Кира и даже не подам вида, что помню вчерашний разговор. Как будто ничего не было.

Дверь открыла Мария Игнатьевна.

— А-а, это ты, Вика,— медленно и очень спокойно сказала она.— А Кирилл вчера ночью уехал.

Мне стало жутко от ее безжизненного голоса. Наверно, так говорят о смерти близкого человека.

Где мне взять силы, чтобы быть рядом с Марией Игнатьевной? Где мне взять силы, чтобы не вспоминать, что было у нас с Кириллом?

И как жить дальше?

### Вместо эпилога

Множество вопросов у читателя, вероятно, вызовет чтение дневника Вики Колесниковой. И даже сейчас, год спустя после этого лета, я не смогу ответить на них. Впрочем, дело Марии Игнатьевны, как и следовало ожидать, закончилось благополучно. По этому поводу Кирилл писал матери из Москвы, что ни минуты не сомневался в исходе этой «идиотской истории». Он писал также, что много занимается, что ему очень интересно, и вообще — живет неплохо. О Вике в его письме не было ни слова.

Ну, а Вика? Она действительно в тот год даже не пыталась поступать в институт, а в октябре начала работать в больнице.

Держится она спокойно, ровно, приветливо. Но иногда, разговаривая с ней, вы вдруг чувствуете, что она уходит в себя, глаза становятся словно глубже и смотрят мимо вас. Так может продолжаться долго, пока вы снова не спросите ее о чем-нибудь. Мария Игнатьевна говорит, что это понемногу пройдет.

Недавно я снова побывал в этом городке, цвели тополя и все было бело от тополиного пуха, как в то лето. Жаль, что не удалось повидать Вику — в тот день она дежурила в больнице.



## ТОРОПИТЬСЯ С ОТВЕТОМ

### Повесть

С утра лил дождь, и Павлу хорошо работалось. Окно его небольшого кабинета, отгороженного от сотрудников лаборатории дощатой перегородкой, выходило во двор, и он, то и дело отрываясь от записей с колонками цифр, посматривал на листву, тускло и влажно блестящую сквозь пелену дождя. Сейчас она была почти одинаково темная, а в солнечные дни деревья переливались и сверкали всеми оттенками зеленого. Павел любил стоять у окна и смотреть на верхушки лип и тополей, на людей, идущих по асфальтовой дорожке к подъезду института. Шум улицы почти не доходил сюда, и огромное молчаливое здание института, огражденное от остального мира высокой чугунной решеткой и густыми, кронами столетних



деревьев, казалось непоколебимой твердыней, замкнутой в самой себе, живущей по своим законам.

Павел был не из последних в этой твердыне, и чувство своей необходимости, причастности к тому, что происходило здесь, ему нравилось.

Цифры были как раз те, какие ему хотелось видеть — все шло, как он предполагал. Павел давно уже научился ценить небольшие удачи медленной, упорной осады проблем, которые приходилось решать его лаборатории, и теперь он испытывал удовольствие, просматривая результаты эксперимента. Это уже было что-то. Если так пойдет... Тише едешь — дальше будешь. И тому подобное — как там еще говорится? Народная мудрость. До нее надо дорасти. Так-то вот. К кому относилось это «так-то вот»? Уж не к нему ли самому — точнее, к тому другому Павлу, с которым он, заведующий лабораторией, доктор наук Павел Сергеевич Скачков, вел многолетний нескончаемый спор. И в конце концов тридцать пять не так уж много, продолжал размышлять Павел. Совсем не много. Хватит торопиться.

За дверью послышались тяжелые шаги. Вошел Иван Варфоломеевич, и Павел поспешно поднялся ему навстречу.

— Помешал небось? Как говорится, тысячу извинений. Был у Алексея Алексеевича и решил заглянуть. Не пугайтесь, коллега: всего и делов-то на несколько минут.

Старик грузно опустился на стул и стал расстегивать добротный, из настоящей кожи, массивный портфель.

«Коллега» в устах почтенного академика Воздвиженского, Варфоломеича, как его называли за глаза, звучало диковато, хотя пора бы привыкнуть — Павел недавно стал членом редколлегии учено-преученого журнала, который, в числе прочих своих бесчисленных обязанностей, редактировал Иван Варфоломеевич.

— Вот,— он протянул небольшую рукопись,— прошу ознакомиться и дать письменный отзыв. Желательно — развернутый. Любопытная штукенция. Да не знаем, сырые (старик любил прикинуться), как поступить: печатать или нет. А вдруг — ерунда? Сраму не оберешься. Двое в коллегии «за», двое «против». Ваш голос, как говорится, решающий. Специфическая область. Больше и посылать никому...

— В таких случаях лучше печатать, Иван Варфоломеевич,— сказал Павел.— Авось и польза будет.

— Разумеется, разумеется.

— Вот и печатайте.

— Напишите отзыв — и напечатаем.

Старик явно что-то не договаривал. Не пришел же он сюда, чтобы передать эту папку. И Павел, небрежно бросив ее в стол, беспечно заметил:

— О'кей. В понедельник пришло.— Он ждал, что будет дальше. Варфоломеич поднялся:

— Спасибо, коллега, выручили. Алексея Алексеевича по дружбе просил — отказался. Прочитал — и отказался. Хочет подумать. Как-нибудь на досуге... А мне, грешному, сдается — здесь другое. Видите ли, коллега, как бы это сказать... Ваш шеф щепетилен в вопросах этики.

— Этики?

— Вот именно. Работа в некотором смысле... вступает в противоречие с теорией Алексея Алексеевича. А последняя во все учебники вошла. Девять изданий выдержала.

— Ну и что же?— спросил Павел.

— А сама работа довольно убедительно написана,— словно не замечая вопроса, продолжал Иван Варфоломеевич.— Весьма и весьма. Даже, знаете, производит впечатление.

Вот оно что. Неизвестный автор осмелился опровергать известного ученого. С точки зрения Варфоломеича, непорядок. Следовательно, надо поставить на место этого не в меру ретивого автора. Самому Алексею Алексеевичу, как полагает Воздвиженский, сделать это не совсем удобно — могут подумать, что сюда примешивается, так сказать, личный элемент (вероятно, так он и понял отказ Алексея Алексеевича написать отзыв), а другим, например Павлу, вполне удобно. Очень даже хорошо. Нехитрая механика. Теперь оставалось промолчать или поблагодарить за ценную информацию, но Павел спросил:

— Кто же сей храбрец?

— Лицо малоизвестное. Или совсем неизвестное. Провинциальный гений. Из Новосибирска, кажется... Фамилия — Корнев или Корнеев... Да там написано,— Варфоломеич добродушно улыбался.— Часом, не доводилось встречать?

Корнев, Корнев из Новосибирска... Не доводилось ли встречать? Доводилось. Доводилось. Павел не сомневался уже, что это — Женька Корнев и что это — та самая работа. Та самая...

Воздвиженский давно ушел, а Павел все сидел и смотрел в окно. Дождь шел и шел — густой, плотный, и ничего не было видно, кроме расплывающихся струек на стекле. Лучше всего сидеть так и слушать, как шумит, как ровно и непрерывно бьет по листве дождь. Сидеть и не двигаться. И ни о чем не думать. Пока не раскрыта первая страница рукописи. И пока вся она не будет прочитана — от начала до конца.

\* \* \*

Они мчались к Алексею Алексеевичу, хотя было поздно. Женька сидел рядом с шофером такси и все торопил его. Шофер, пожилой толстяк, посмеивался: вам на свиданку, а мне — отвечай?

Это было просто удивительно, как все сошлось. Сошлось — как только Женьке пришло в голову ввести непостоянную. Уравнение написалось само. Оно выглядело очень красиво — простое, ясное. Как у классиков. И все так логично, легко связывалось!

— Шеф, пожалуй, не подкопается,— сказал Женька, когда они поднимались в лифте.

В первый раз он назвал Алексея Алексеевича шефом, да еще так небрежно, и Павел усмехнулся. Какой он им шеф — всего-то и виделись раз в год по красным дням. И то сказать, академик, директор института, глава целой школы в физической химии, и они — мальчишки, без году неделя кандидаты наук. Но когда Женьку заносило, такие мелочи не брались в расчет.

Он все торопился, как будто что-то зависело от того, когда они придут. Перед дверью он вдруг сник:

— Может, проверим еще раз?

— Жалкий трус! — бросил Павел. — История не прощает малодушных!

Он-то знал: если Женька заупрямится — дело плохо. Второй раз сюда его и на канате не затащишь, начнет проверять все сначала. Но Женька стоял как вкопанный. Ему было наплевать на историю. Тут они услышали стук каблучков и подняли головы. По лестнице спускалась девушка. Они даже не разглядели ее хорошенько — смотрели против света. Но в ту же минуту Женька нажал кнопку звонка и принял равнодушно-независимый вид. Как будто визит к академику для него пустяк. Как будто он запросто ходит к нему чай распивать.

Девушка прошла мимо, даже не взглянув на двух молодых людей. Она, разумеется, и не подозревала, какую роль сыграла в науке. Кто знает, если бы не эта девушка, осмелился бы Женька нажать кнопку звонка? И они тоже не запомнили ее, потому что прислушались к шагам, приближающимся с той стороны. Неторопливым, еле слышным, ровным шагам — будто человек шел издалека.

Алексей Алексеевич сам открыл дверь. Он стоял на пороге в домашней мохнатой куртке и в стареньких войлочных туфлях, и даже выражение лица у него было совсем не такое, как в институте. Какое-то время, показавшееся им очень долгим, Алексей Алексеевич с любопытством рассматривал их и вдруг запросто, совсем по-домашнему, сказал:

— Заходите. Прошу, прошу...

Они молча, как лунатики, пошли за ним.

— Да вы разденьтесь,— любезно предложил Алексей Алексеевич.— Чайку попьем.

— Чайку — так чайку,— довольно небрежно буркнул Женька, будто они и в самом деле шли мимо, да заглянули «на огонек».

Алексей Алексеевич провел их в кабинет, усадил в кресла,

извинился, что на минуту оставляет их, и вышел распорядиться.

Он жил один в огромной квартире, заставленной старинной мебелью и книжными шкафами. Хозяйство вела какая-то очень древняя старуха, которую в институте называли «Пиковой дамой». Только теперь, оставшись одни, они поняли, что натворили, ввалившись в дом без разрешения. Но отступить было поздно.

— Итак, молодые люди, вы совершили открытие,— сказал Алексей Алексеевич, садясь против них. Он сказал это совершенно серьезно, поудобнее устраиваясь в кресле и приготовившись слушать.

Женька молча протянул ему тетрадь, и Павел поспешил добавить:

— Исследование эффекта К. Внеплановая работа.

Почему он сказал, что внеплановая (хотя так и было) — ведь это уже не имело значения. От страха? Неуверенности?

Алексей Алексеевич, ни слова не говоря, уткнулся в тетрадь. Равнодушно и мерно, будто ничего не происходило, качался маятник больших стенных часов. Вправо-влево. Вправо-влево. Слабо пахло каким-то необыкновенным трубочным табаком.

Женька с независимым видом рассматривал гравюры на стенах.

Потом его взгляд скользнул по письменному столу, остановился на фигурке маленького бронзового человечка. Не хватало, чтобы он сейчас взял его в руки и начал рассматривать. С него станется.

Алексей Алексеевич (как он только ухитрился углядеть за Женькиным взглядом?) поднял голову.

— Интересуетесь? Что ж, Жак стоит того,— и снова впился в тетрадку.

Фигурка из старой, потемневшей бронзы резко выделялась на огромном пустом столе. Жак стоял с поднятой палкой, чуть наклонившись вперед, готовый к нападению и защите. Гордый и неприимый. Видно, он очень понравился Женьке, этот человек, а может, просто помогал сохранять выдержку, Женька не мог глаз от него отвести.

А старик все читал, неторопливо перелистывая страницы.

Вправо-влево. Вправо-влево — отсчитывал секунды маятник. По одной капле. Интересно, за сколько времени можно набрать стакан воды, наполняя его по одной капле в секунду? И какого порядка будет число, определяющее количество капель в стакане?

И вдруг Алексей Алексеевич швырнул тетрадь.

— Каковы, а?— вскричал он.

Они ждали чего угодно, только не этого. Взял да и швырнул! — Вечерние забавы приготовишек,— выдавил из себя Павел.

— К тому же бездарных,— поддержал Женька.

— Обыкновенные троглодиты,— продолжал Павел.

— Только и всего,— завершил Женька.

— Неплохой дуэт,— сказал Алексей Алексеевич и нагнулся за тетрадь. Он с трудом дотянулся до нее, но ни Павел, ни Женька даже не пошевелились, чтобы помочь ему. Им не хотелось даже прирагиваться к ней, к этой жалкой ученической тетрадке, опозорившей их.

— Неплохой дуэт,— повторил он, доставая тетрадь.

— Мы и то...— тут же откликнулся Павел.— Не податься ли нам на эстраду, а? Как ты, Эжен,— не против?

— Я — всегда, пожалуйста,— ответил Женька.— Могу фокусы показывать. Могу и так...

— Фокусы, фокусы,— пробурчал Алексей Алексеевич, перелистывая тетрадь.— Это похоже на открытие — вот что! Если только верны исходные данные. Впрочем, данных у вас маловато, и выводы носят частный характер. Но все равно — логика, построение... Кто знает, может быть, это лучшее, что вы сделаете в своей жизни...

Он сказал это тихо, словно самому себе, а когда поднял глаза на Павла и Женьку, неожиданно громко скомандовал:

— Одевайтесь! Живо!

— В милицию поведете?— спросил Павел.

— В Пампасы! На бордаж! В ресторан!

— А Марина?— сказал обнаглевший Павел.

— Какая Марина?

— Вечно женственное начало.

— Пусть будет так,— милостиво согласился Алексей Алексеевич.

— Мы заедем за ней. Нам по дороге,— сказал Женька.

Почему Павел вспомнил о Марине? Хотел, чтобы она была свидетельницей их торжества, его торжества? Или он это сделал для Женьки, потому что Женька никогда бы не решился предложить это сам? Может, с того вечера все и началось?

\* \* \*

Дождь не переставал. Заметно потемнело, хотя до вечера было далеко. Павел встал, открыл окно. Вместе с шумом дождя и влажным воздухом в комнату ворвался острый, терпкий запах отцветающих лип. Надо было открыть окно раньше — все равно вода не попадала на письменный стол.

Дождь был прямым, без ветра, и вода со звоном, сильной, ровной струей стекала из желобов на асфальт. По двору, накрывшись одним плащом, пробежали две лаборантки. В углу, у противоположной стены, запенился ручей. Там, наверно, лежал камень.

Павлу захотелось вдруг, как в детстве, в одних трусиках поплясать под дождем. Плясать — и кричать от восторга. Он протянул руку в окно — дождь был теплый и мягкий.

Может, и правда с того вечера все началось? Они долго не могли никуда попасть — не было свободных мест. Шеф вел себя, как мальчишка, вызывал метрдотелей, демонстрировал свое могущество.

Павел острил, и Марина смеялась. Он был в ударе — у него здорово получалось. Марина смеялась, а Женька мрачнел.

\* \* \*

Войдя в зал, уставленный столиками, за которыми сидели, шумно разговаривали, чокались, смеялись разгоряченные от духоты, еды и питья люди, Алексей Алексеевич усмехнулся:

— То, что нам нужно. Антиакадемическая атмосфера.

Кивком головы он подозвал метрдотеля:

— Пожалуйста, усадите нас.

— Свободных мест нет,— сухо сказал метрдотель.— Много гостей. Суббота.

Метр был очень важный, в безукоризненно белой манишке, с седеющей головой, с тщательно выбритым лицом, на котором застыло несколько загадочное выражение замкнутости.

— Объективная закономерность,— заметил Павел.— Суббота. Закон Гей-Люссака.

— Что вы сказали?— повернулся к нему метрдотель, слегка подняв брови.

— Объективная закономерность, говорю. Закон Гей-Люссака.

— Понятно,— кивнул метр, все же не решаясь отойти.

— Итак, нас четверо,— мягко повторил Алексей Алексеевич.— И, как видите, с нами дама.

— Понятно,— неопределенно сказал метр.— Понятно...— повторил он после некоторого раздумья.

И вдруг любезная улыбка мгновенно преобразила его лицо. Оно стало доброжелательным и заинтересованным. Само внимание.

— Сделаем. Для таких гостей все сделаем!

Свободный столик нашелся сразу, и когда все уселись, Алексей Алексеевич торжественно проговорил:

— Видели? А вы — объективная закономерность. Закон Гей-Люссака. Нет, друзья, без волюнтаризма не проживешь!— Помолчав, он добавил:— Науку я исключаю. Как, впрочем, и еще кое-что...

По традиции Алексей Алексеевич заказал шампанского и легкий ужин. Старик был очень привлекателен со своей старомодной учтивостью. А когда разговор зашел об искусстве, Павлу и Женьке пришлось помалкивать. Впрочем, Женька набрался храбрости и спросил про бронзового человечка.

— Запал в душу мой человечек?— улыбнулся Алексей Алексеевич.— Почувствовали, какой он гордый и смелый. Он не сдастся, не отступится от себя. Это крестьянин времен Жакерии. Борьба и

свобода! Вещь действительно старинная и уникальная, работы неизвестного мастера семнадцатого века. В своем роде семейная реликвия. Мой отец, старый большевик — подпольщик, привез ее из эмиграции. Жак был его другом, потом — моим, потом — моего сына...

Он замолчал, прикрыв глаза рукою. Чуткая Марина первая поняла и остановила взглядом Павла, хогешего что-то сказать. Но Алексей Алексеевич уже справился с собой.

— За музы! — поднял он бокал, обратившись к Марине. — Музы и разум!

— Муза. Одна на двоих, — поправил Павел.

— О, разумеется! Коллективный разум и единственная муза. — Алексей Алексеевич чуть поклонился Марине. — Такой музе позавидовал бы сам Эйнштейн!

— Благодарю вас, — сказала Марина. — Но я всего лишь микробиолог. Сотрудник эпидемстанции. Не более того.

— Ты слишком хороша, чтобы быть хорошим эпидемиологом, — заметил Павел. — Это нарушило бы общую гармонию, то бишь справедливость, по терминологии моего друга и соратника Евгения Корнеева.

— За соратника — спасибо. Счастлив быть твоим современником! — немедленно откликнулся Женька.

— Не стоит благодарности. Ты заслужил. — Павел разошелся. — Так вот, во имя справедливости, давай так, — обратился он к Марине, — я — прекрасный ученый, а ты — прекрасная женщина. Пойдет?

Дальше уже поехало, понеслось в стремительном темпе, все убыстряясь, как это бывает, когда летишь на санках с крутой горки. Стоит только решиться. Решиться — и оттолкнуться.

— Понимать, как предложение руки и... чего там у тебя вместо сердца? — спросила Марина.

— Обыкновенный двигатель. Так как же — формула принимается?

— Я буду тебя любить, а ты за меня думать, так? — допытывалась Марина.

— Такое понимание семейных отношений меня вполне устраивает.

— Ого, семейных, — выдавил из себя заметно помрачневший Женька.

— Что ж, все мы, и биологи и балерины, только об этом и мечтаем. — Марина усмехнулась: — Ты неотразим. Устоять невозможно.

— И луна еще не взошла, — сказал Женька.

— Еще нет. А что ты об этом думаешь, Евгений Корнеев? — чуть дрогнувшим голосом спросила Марина.

— Ничего. Ровным счетом ничего, — он злился все больше и больше.

— Хорошо,— сказала Марина, повернувшись к Павлу.— Обещаю подумать. В свободное от работы время.

— А вот этого вам как раз и не полагается!— усмехнулся Алексей Алексеевич.

Улыбаясь, он слушал этот разговор и сразу понял— это давнишняя история. Старая, но вечно новая, как сказал поэт.

Но дело зашло, кажется, слишком далеко, если судить по лицу Евгения Корнеева, и Алексей Алексеевич поспешил добавить:

— Что же касается прекрасных ученых (разумеется, в равной мере это относится к вам обоим), то у меня предложение...

Павел слегка поддался вперед, но Корнееву, видно, трудно было сразу переключиться. Он по-прежнему изо всех сил старался сохранить невозмутимый вид...

— Предложение...— снова повторил Алексей Алексеевич, смотря на Корнеева. Ему все больше начинал нравиться этот несколько бесшабашный и неожиданный молодой человек. Интересно, кто из них играл первую скрипку?

— Во-первых, не заниматься внеплановыми работами— у нашего института достаточно напряженная программа. А во-вторых... Видите ли, ваше исследование интересно, спору нет, но я далеко не уверен в исходных данных. У меня были другие данные, да и фронт явлений значительно шире, и я пришел, как вы знаете, к другим результатам. А это, как известно, существенно для теории в целом. Увы, факты пока на стороне принятой теории.

— Наша работа может быть существенна для теории в целом?— спросил Женька.

Вот когда он справился с собой. Скорее всего, он и играл первую скрипку. Да, пожалуй, так.

— Не исключено, что для теории в целом,— ответил Алексей Алексеевич.— Хотя вас заинтересовал частный случай. Словом, надо еще потрудиться. Переплыть океан. Всего лишь.

— Я так и полагал,— задумчиво произнес Женька.— Вернее, однажды мне это пришло в голову...

Марина не слушала. Она ничего не понимала в этом. Она смотрела на танцующих и, наверно, не видела их— думала о своем. У нее всегда была эта особенность— вдруг уходить в себя. Отдаляться. В такие минуты она даже не понимала, что ей говорили.

— Согласитесь, друзья мои, что пока нет оснований пересматривать теорию,— продолжал Алексей Алексеевич.

— Пока нет,— сказал Женька.

— Благодарю вас.— Алексей Алексеевич снова наполнил бокалы.— Но в вашей работе тем не менее есть все, что нужно для серьезного исследования. Вот за это и выпьем. За диплом исследователя. Могу прибавить— с отличием!



— Выходит, наша тетрабочка — экзерсис для первых учеников? Упражнение в четыре руки? — осведомился Павел.

— В известном смысле... Я предлагаю вам другую тему. Плановую. Крайне важную. Возьмитесь — и притом совершенно самостоятельно. — Алексей Алексеевич помедлил. — Со временем этой темой будет заниматься целая лаборатория. А вы начнете. На первых порах подберите двух-трех сотрудников...

Он сказал это обычным тоном, как о пустяке, но предложение было ошеломляющим. Минувя годы черновой работы для других — самостоятельная тема! Крайне важная. Рывок в будущее. И в перспективе — лаборатория!

И у Павла, и у Женьки был, вероятно, забавный вид, потому что Марина, неожиданно повернувшись к ним, рассмеялась:

— Что вы такое сказали, Алексей Алексеевич?

Только сейчас она обратила внимание на Павла и Женьку — вернулась оттуда.

— Мы подумаем, — сказал Павел, одним духом осушив свой бокал. — Подумаем.

Заиграл джаз, и к Марине подошел парень в красном свитере.

— Разрешите? — обратился он к Павлу.

— Разрешаю, — сказал Павел. — Разрешаю, черт побери!

— Пошли, — лаконично бросил парень Марине.

— Я не разрешаю, — медленно и внятно проговорил Женька, — я ангажировал мадемуазель на мазурку.

— Ого! — вырвалось у Марины.

— Идите, молодой человек, погуляйте, — ласково произнес Алексей Алексеевич. — У нашей дамы болит голова.

— Женька, милый, пойми. Я самая обыкновенная. Обыкновенней некуда, — вдруг сказала Марина.

Так вот она о чем думала, когда смотрела на танцующих. Лицо ее было бледным, и глаза, сейчас серовато-зеленые, казались очень усталыми. Большие несчастные глаза на бледном лице.

— Лунатики, — сказал парень в красном свитере, отходя. — Чокнутые...

Возвращались они втроем. Алексей Алексеевич попрощался с ними, как только они вышли из ресторана. Они шли по ночным улицам, и Марина, как и раньше, держала Женьку и Павла под руки. Она всегда дурачилась и смеялась, когда они гуляли вместе. Им было легко: будто по молчаливому уговору, никто из них никогда не переступал черту. Эту черту.

Теперь все было разрушено. Словно порвались нити, которые связывали их. И каждый из них по-своему ощущал эту возникшую вдруг неустойчивость — она рождала смутную тревогу.

Они шли и молчали.

Он сказал — подумаем — и глотнул вина, потому что во рту стало сухо. Но вся штука в том, что тогда уже он все решил. Сразу — как только шеф высказал свое предложение. Он боялся одного — как бы Алексей Алексеевич не передумал. Все это было так неожиданно. Невероятно. Мелькнула ли у него мысль о Женьке? Тогда — нет. А потом он не сомневался, что Женька согласится. В конце концов, они могли вернуться к своей работе позже, когда все прояснится. Начать сначала они всегда бы успели. И вдруг Женька отказался — и так решительно, что уговаривать его было бесполезно. Что это было? Упрямство? Очередной «загиб»? Или что-то другое, что всегда он чувствовал в Женьке? Чувствовал — и не мог понять.

У Женьки не было никаких резонов. Он даже не пытался опровергать разумные доводы Павла. Он хотел одного — продолжать работу. Он был весь в ней. Он даже не мог себе представить, как можно было, хотя бы на время, бросить ее. Зачем? Во имя чего? Ведь он был уверен, что на верном пути.

Это была логика, силу которой хорошо знал Павел. Но это была другая, Женькина логика.

Потом Женька уехал — что ему оставалось? Самое удивительное, что шеф помог ему — Женьку взяли в институт, где он мог продолжать свою работу. Общую их работу. А ему только этого и надо было...

Странно, что с утра молчал телефон и никто не заходил, кроме Варфоломеича. И еще дождь. Когда не хочется двигаться. И хорошо сидеть одному. И чувствовать, как из окна тянет свежим, холодноватым, влажным воздухом, и пахнет липами и сырой землей.

Женька уехал, а он остался. И все произошло так, как говорил шеф. Он начал работать и получил лабораторию. У него здорово пошло. Потом защитил докторскую диссертацию. И стал членом некоего ученого совета. И членом редакционной коллегии академического журнала, ученого-преученого, единственного в этой области физической химии. Того самого, который редактировал академик Воздвиженский. Журнала, где должна быть опубликована работа Е. Корнеева, потому что больше печатать негде. А напечатать надо. Обязательно надо.

Павел читал, подолгу останавливаясь на каждой странице. Записывал возражения на обратной стороне папки и шел дальше. Красным карандашом, крест-накрест, он зачеркивал возражения, когда они отпадали. Он зачеркивал с удовольствием. Он радовался за Женьку, потому что, черт побери, это был Женька. Вероятно, Павел и не представлял свою жизнь без Женьки. Неважно, что его не было рядом, но где-то же он существовал, и был таким, как есть, и делал

то, что ему полагалось, что, в сущности, полагалось делать всем.

Теперь-то Павел хорошо понимал, почему все они так переполошились, и Варфоломеич явился к нему собственной персоной. Теория Алексея Алексеевича выдержала девять изданий во всех учебниках — выдержит ли она десятое, если будет опубликована работа Е. Корнеева?

Во всяком случае, серьезная дискуссия неизбежна, и шефу пришлось бы нелегко. Ему пришлось бы защищать свой фундаментальный труд, который был делом всей его жизни. И против кого — неизвестного провинциала!

Шеф, скорее всего, убежден в непогрешимости своей теории. Если было бы не так — старик нашел бы в себе мужество отказаться от нее. Он сам первый предложил бы опубликовать работу Е. Корнеева. А теперь, считая себя правым, шеф не хочет играть роль черта в известном споре с младенцем. И волею судеб эта роль предназначалась ему, Павлу. Но вся шутка в том, что в свете работы Е. Корнеева непогрешимая теория шефа перестает быть непогрешимой. Удивительно, что старик этого не видит. А он, Павел, видит — с выводами Женьки трудно не согласиться. Кстати, так надо и начать — с выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Начать с самого главного. Взять быка за рога. Чтобы никаких неясностей и недоумков.

Вы, уважаемый Иван Варфоломеич, принесли работу Е. Корнеева лично, дабы сообщить при этом ценную информацию, — спасибо. Работа произвела на вас впечатление, но вы не хотите вступать в спор с Алексеем Алексеевичем — это неприятно, трудно, возможно, и опасно. Тем не менее вы хотите быть объективным, как и подобает истинному ученому, и поступите так, как решат специалисты. А один из них, между прочим, — ученик и сподвижник Алексея Алексеевича. Уж если он «за», значит, деваться некуда: надо печатать. В любом случае вы будете правы. Все же проистекающие последствия этого шага для вышеуказанного ученика и сподвижника Алексея Алексеевича, естественно, уже никого не интересуют. Это — личное дело ученика и сподвижника. Шеф сочтет его элементарным предателем — и будет прав: ведь Павел числится убежденным сторонником принятой теории. Естественно, что шеф сделает соответствующие выводы. И его бывший ученик окажется у разбитого корыта. Неплохо вы разочли, Иван Варфоломеевич. Все правильно. Все так и есть.

«С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться...» Но дальше не писалось, и Павел положил ручку. Только теперь он заметил, что в комнате темно. Ого, дело идет к вечеру. И дождь как будто перестал. Он встал, включил свет. Кабинет, который ему так нравился, теперь показался неприятным. Диван, два низеньких кресла возле

треугольного полированного столика на тоненьких ножках, книжный шкаф, сейф. Зеленая лампа на письменном столе, телефон, Стандарт докторов наук. А есть еще стандарт членкоров. И стандарт академиков. А Женька обходится без стандартов — любопытно, во что превратился бы этот кабинет, если бы он сидел здесь? На полированном столике, за которым Павел угощает кофе именитых гостей, лежали бы журналы, книжки с закладками, какая-нибудь лоханка, полная окурков; стол бы был завален бумагами, и уж наверно кто-нибудь из сотрудников торчал бы в кабинете, с жаром излагая свои завиральные идеи...

После дождя запах лип стал еще острее — казалось, он наполнил всю комнату, но был словно чужим здесь. Столик, два кресла, диван — все на своих местах. Остальное не имеет к этому отношения. А может, так неприятно при электрическом свете? Павлу захотелось снова остаться в темноте — он потянулся было к выключателю, но раздумал. Странно он ведет себя. Более чем странно.

Шеф, конечно, будет абсолютно прав, когда отстранит его от заведования лабораторией. Лаборатория выполняет важную часть программы института — как раз ту самую, которая основывается на этой теории. А он выступит ее противником. Естественно, ему придется уйти. Что же касается репутации, то об этом позаботится Варфоломеич. Разъяснит, кому надо, ситуацию. Скажет все полагающиеся слова. По поводу некоей змеи, которую согрел на своей груди Алексей Алексеевич. Тогда и появится разбитое корыто. Павел даже ясно представил его: неглубокое, деревянное, с выщербленными краями, треснувшее наискосок по дну — то самое, из сказочки.

Правда, не исключено, найдутся и такие, которые поймут Павла — человек заблуждался, а теперь узрел истину. Вот и все. Как там, у Пушкина — пошел за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную... Что-то вроде этого.

Конечно, многие так и подумают. И все-таки после разговора Варфоломеича что-то останется. Легкий осадок. Кисловатый на вкус. С запахом серы — производство нечистой силы. Ах, это непостижимое, мистическое «что-то»!

Ну, а как оно действует, известно: Павел Скачков? Разумеется, ничего плохого за ним нет. Способный ученый. Перспективный. Да и история сама по себе обычная — научный спор, пересмотр позиции... Но, знаете, говорят, что-то там было такое, не очень... Так что лучше уже — воздержимся. На всякий случай.

...С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Действительно, трудно. Но не так-то легко и согласиться. И отказаться от отзыва невозможно.

Павел подошел к окну. Сгущались сумерки. У главного входа института зажегся фонарь. Полосы света прорезали влажный, бело-

рый туман, и над самым подъездом возник ровный, колеблющийся прямоугольный козырек из света и воздуха. Поднялся ветер. Фонарь слегка покачивало, и козырек то приподнимался, то опускался.

В окнах напротив, через двор, света не было — сотрудники уже разошлись. Опечатаны лаборатории и кабинеты. Павла не беспокоили: знали, он частенько засиживался допоздна.

Пустынный двор. Фонарь. Дрожащие полосы холодного, матового света. Угрюмое здание с темными окнами.

Павлу стало тоскливо. Он зажег настольную лампу, сел за стол. С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Трудно не согласиться... Нет. Завтра. Сейчас все равно ничего не выйдет. Утро вечера мудренее.

Павел обрадовался, когда зазвонил телефон. Чуть слышный дребезжащий звук показался странным в этой тишине, и Павел не спешил брать трубку: не показалось ли? Но звонок повторился — настойчивый, долгий. Павел ответил. Он услышал голос Марины (вот уж не предполагал), и что-то дрогнуло в нем.

— Что-нибудь случилось? — спросил Павел.

— Нет, ничего. Когда придешь?

— Тебя это интересует?

— Интересует. — Голос слышался близко, как будто Марина была рядом. Павлу даже показалось, что он почувствовал ее дыхание.

Он ясно представил себе: сейчас Марина достала сигарету, щелкнула зажигалкой. Откинулась в кресле.

— Интересует, — помедлив, повторила Марина.

— Прямо сейчас выхожу. Хватаю такси и через десять минут — у твоих ног.

— Приходи.

— Дождь? — спросил Павел.

— Приходи, — и Павел услышал частые гудки.

Странная у них была жизнь с Мариной. С тех пор как Павел переступил ту черту — они испытывали удивительное ощущение, будто катятся вниз, все быстрее, так что дух захватывает, и нет сил остановиться. И лишь когда Женька уехал и они поженились — Марина начала приходить в себя и старалась понять, объяснить, что же произошло. Так же как и Павел, с беспощадной ясностью она почувствовала: то, что должно было объединять их, все прошлое (хорошее было время, чистое, ясное) — отталкивало, отдаляло. Они старались не вспоминать, чтобы не заговорить о Женьке. Как в доме повешенного не говорят о веревке. Они словно договорились вычеркнуть из жизни целые годы. Самые лучшие. Забыть — чтобы не носить в себе постоянное, не проходящее со временем, чувство вины.

Но человеку не дано забывать, потому что прошлое неотделимо от него, от его жизни. И чем больше, чем мучительнее желание за-

быть, тем яснее и живее память, которая всегда настороже, готова каждую минуту с новыми подробностями восстановить прерванную цепь, и тот день, и тот час.

Марина изо всех сил старалась преодолеть то, что стояло между ними. Но чем больше она прилагала сил, тем меньше у нее получалось.

Иногда месяцами все шло хорошо, и Павел снова начинал верить, что они очень нужны друг другу. И вдруг какой-нибудь пустяк — и все летело ко всем чертям. Марина становилась раздражительной, замкнутой, уходила в себя. В таких случаях лучше ее было оставлять одну, пока она сама не возвращалась оттуда. Павел понимал: постоянно, то усиливаясь, то ослабевая, в ней шла та внутренняя работа, помешать которой он был не в силах. К чему она приедет? Павел старался не думать об этом...

Но струна все натягивалась.

\* \* \*

Море казалось далеким.

Это ощущение возникало, если не смотреть вниз и не слушать голоса и смех людей, которые плескались у берега. Ровная бесконечная голубизна с зеленоватыми бликами, светлея, уходила все дальше и еще дальше, словно приближаясь к небу и принимая его окраску. Там, где она сливалась с небом, в сиянии воздуха еще различимо белела тонкая полоска. Если долго смотреть так, то начинает казаться, что и тебя самого куда-то несет — мягко, плавно; голова слегка кружится, в ушах возникает далекий, ровный звон...

А вблизи море отликает то синим, то зеленым. И волна шуршит по гальке. И не очень жарко, ласково светит солнце. И громоздятся друг на друга теплые камни причудливой формы. Один похож на диковинную птицу с поломанным крылом, но стоит чуть повернуть голову — и птица становится сфинксом. Не потому ли возникли в древности сфинксы, что они близки к естественным очертаниям огромных камней?

Павел и Женька в плавках лежат на теплой, шершавой поверхности нависшей над берегом скалы. Оба они смотрят, как Марина, легко перепрыгивая с камня на камень, спускается вниз. Еще один сильный толчок — и ее ноги касаются песка. Марине не удается удержать равновесие — она падает на руки, с размаху переворачивается через голову и оказывается на ногах, как будто что-то подбрасывает ее вверх.

— Циркачка... — бормочет Женька.

— А он циркачку полюбил... — Павел надевает темные очки, и сразу все окрашивается в мягкие темно-зеленые тона, словно на

всю землю кто-то надел гигантский колпак. Пока он осваивался под колпаком, Марина оказалась у самой воды. Он так и не увидел, как она шла к воде.

«Попробуй уследи за ней»,— подумал Павел, хотя сам затеял возню с очками. Он так подумал, потому что никогда не мог угадать, что она скажет или сделает в следующую минуту.

Марина всегда была настоящим товарищем, своим «парнем». И ни к чему было ей все эти дни так упрямо подчеркивать это. Но стоило ей почувствовать в его словах что-то другое, непривычное, как он встречал ее вопросительный и, как ему казалось, насмешливый взгляд. А Павлу хотелось увидеть в ее глазах беспомощность. Чтобы она была такой, какая есть, когда оставалась одна, чтобы она уже никуда не смогла уйти, отдалиться. У Павла захватывало дыхание, когда он думал о том, что Марина положит ему руку на плечо не так, как обычно, а по-другому — беззащитно, нежно.

Марина стояла по щиколотку в воде, чуть откинув назад голову в красной шапочке, и ждала, чтобы откатилась волна, но все пропускала этот момент, и ее легкая, тонкая, загорелая фигура то совсем исчезала в брызгах, то снова появлялась, когда волна уходила. А может, ей нравилось стоять так и ждать, когда у ног с шумом разобьется, разлетится волна и тебя обдаст взвивающимся облаком брызг.

— Девушка и море,— сказал Женька.

Марина почувствовала, что на нее смотрят. Оглянулась, помахала рукой и бросилась вслед за волной.

— Представление окончено,— произнес Павел. Он снял очки и уткнулся носом в камень. Ни он, ни Марина не забыли того разговора в ресторане, но теперь, когда Женька должен был уехать, все еще больше запуталось. Женька должен был уехать в Новосибирск — Алексей Алексеевич помог ему, а Павел оставался. Все трое чувствовали — начиналась какая-то новая полоса в их жизни. Женька уезжал и, вероятно, надолго, и Марина предложила втроем недели на две съездить к морю. Напоследок. На прощанье.

— Чтобы было, что вспомнить,— невесело пошутил Женька, когда Марина сказала: а что, мальчики, если нам прокатиться к синему-синему морю...

Эти две недели уже истекли, и Павел начинал заметно нервничать. Он затевал бесконечные философские споры с Женькой, к которым молча прислушивалась Марина.

Павел всегда философствовал, когда терял равновесие.

— Водичка да красное солнышко расслабляют волю,— пробормотал Павел, не поднимая головы,— лежишь себе — и ничего не надо...

— Кроме обыкновенного чуда,— усмехнулся Женька. Он напря-

женно следил за красной шапочкой, мелькавшей в волнах далеко от берега — что она там, с дельфином познакомилась, что ли?

— А человек должен быть свободен,— упрямо продолжал Павел.— Человеку нужна внутренняя свобода, чтобы следовать целесообразности. Только целесообразности. В истории цивилизации слишком много намешано.— Павла понесло.— И мы слишком робко расстаемся со старым, давно отжившим. В науке — с устаревшими представлениями, в жизни — с допотопной моралью.

— С этим, товарищи, пора кончать. Раз и навсегда,— устало сказал Женька.

— Вот именно.— Павел даже не обратил внимания на Женькин ехидный тон.— Нож хирурга добрее пилюль, от которых ничего не меняется. Двадцатый век подводит жесткую черту — ясную и определенную. Это — век итогов. Чтобы овладеть силами, которые мы вызвали к жизни, нужна внутренняя свобода. Ясность и определенность цели. Только целесообразность определяет этику. И поведение человека. И его жизнь. И его право. И мораль.

— Лихо!— сказал Женька.— Внутренняя свобода, как свобода от обязательств. Кажется, так и говорил Заратустра. И насчет целесообразности и рационализма, они же и критерии.

— Я говорю о двадцатом столетии. Не строй из себя круглого идиота.

— Ну, да — о столетии и человечестве. А ты не путаешь человечество с собственной персоной?

Женька посмеивался. Он никогда не принимал всерьез философские пассажи Павла.

— А хотя бы и путаю,— вскинулся Павел.— В известном смысле можно сказать: человечество — это мы.

— Мы — или Я?

— Несущественно.

— Как сказать... Если мы, то без обязательств не обойдешься. Но как же тогда насчет внутренней свободы? Если я — тогда другое дело. Но человечество тут ни при чем.

— Схоласт. Формалист. Метафизик,— разозлился Павел.— Обыватель. Исконный-исконный.

— Каков запас эпитетов! Какая фантазия!— восхитился Женька. Он долго молчал и вдруг спросил:

— Неужели на все случаи жизни нужны теоретические обоснования?

— Ты о чем?

Женька не ответил, и Павел не стал переспрашивать. Он и сам не знал, для чего затеял этот спор — что-то его мучило, что-то хотелось уяснить. А тут этот вопрос насчет теоретических обоснований. Неужели Женька все понял раньше него и сам ему все объяснил?



Павлу пришло в голову, что они играют в старую детскую игру — да и нет не говори, черное-белое не называй... Вы поедете на бал, или там на футбол? Поеду. Вы наденете рубашку? Надену. Какую? Красную, зеленую, синюю...

Женька лежал на спине, прикрыв глаза рукой. Он наслаждался солнцем, морем, бездельем и как будто ни о чем не хотел думать. Надоела ему эта игра, что ли? Поедете на хоккей? Да. Рубашку? Белую. И чего ты, Пашенька, мечешься? Не в нас с тобой дело. Разве она из тех, кто будет ждать, пока один из оленей прогонит другого? Глупый ты, Женька, глупый...

Марина появилась неожиданно. Они оба прозевали ее. Марина молча села между ними, коснувшись Павла мокрым локтем. С нее капала вода, и то место на камне, где она села, потемнело.

— Как дельфины? — деловито спросил Женька.

— Лентяи, — сказала Марина, снимая шапочку.

— Дельфины?

— Не дельфины, а вы. Элементарные лентяи.

Сейчас на солнце глаза ее посветлели — стали серовато-синими, чуть темнее неба. Она запыхалась, пока взбиралась наверх, и Павел заметил, как у неё на шее, почти у самой ключицы, билась жилка. Повязав волосы косынкой, Марина вытянулась на спине — почти вся открытая взгляду, тонкая, загорелая, с длинными, сильными ногами гимнастки, и все равно недоступная, недостижимая.

«Какого черта она занимается микробиологией? — вдруг подумал Павел. — Романтика риска? Или назло себе — возня с этими болезнетворными вирусами не очень-то приятна. Воспитывает характер?»

Он подумал так, будто не знал Марину с первого курса университета. Почему-то раньше он не замечал, только сейчас ему пришло в голову, что Марина чем-то похожа на Женьку. С одного двора. Только что-то мешает ей стать такой, как Женька. А наверное, очень хочется. И не получается. А может, она его боится? Поэтому и боится, что не получается?

Внизу кто-то включил транзистор — теплый женский голос легко и мягко взлетел вверх; там, где-то высоко в облаках описал плавный круг и спустился к земле. И тут же гобой в нижнем регистре неторопливо повторил эту мелодию — только она уже не была такой воздушной, крылатой. Гобой словно приблизил её, а голос снова взлетел — еще легче, еще выше. И не удержать его, нет такой силы, все равно он полетит, свободный и легкий, вверх, и еще вверх, пока сам не захочет вернуться...

Что-то очень знакомое было в этом голосе. Знакомое и неожиданное. Старинное и сегодняшнее. И лишь когда оборвался летящий голос и в свисте, толкотне, шуме эфира послышались торопливые такты джазовой песенки, Павел вспомнил, что это был Бах. Его

мелодия. Павел любил его музыку — она вызывала ощущение беспредельности живого мира, перед которым все выглядело в своем подлинном свете. Суета была суетой. И ничем больше. Любовь — любовью. А наука — стремлением к истине. И ничем больше. Этот толстый человек в роскошном парике, любивший посидеть за бутылкой вина, человек, у которого было много детей, наверно, все знал и все понимал.

Слава богу, кто-то все же выключил транзистор, дурацкая песенка пропала, и опять возникли и шум волн, мерно разбивающихся о прибрежные камни, и смех, и говор, и вскрики. И будто не было летящего голоса. И земля осталась такой же, как была. Марина все так же лежала на спине, и Женька нежился на солнышке. Они молчали, и вдруг Марина поднялась:

— Мальчики, а не уехать ли домой, к маме? Вы оставайтесь, а я поеду. Прямо сегодня, а?

— Блажь,— сказал Женька.

— Не блажь. Мне надо. Очень надо.

— Блажь,— сказал Павел.

Марина накинула сарафан.

— Я пошла собираться, а вы еще побудьте.— Она взяла свою цветастую синтетическую сумку и зашагала, почти побежала вверх по тропинке.

Вот бы когда им поговорить, но играть в да и нет было бессмысленно, а выкладывать все начистоту не решился ни Павел, ни Женька. Они позагорали еще немного, поплавали, а потом вдруг почти одновременно заторопились домой.

...Комната Марины была открыта. Все аккуратно прибрано, лишь на столе, нарушая порядок, лежал чемодан.

— Едет все-таки. Соскучилась по своим бациллам,— пробормотал Павел.

Женька безмятежно курил. Послышался голос Марины. Она разговаривала с хозяйкой.

— Никак не могу. Так сложилось,— говорила Марина.— Такая уж я неприкаянная.

Неприкаянная. Это точно. Даже присочинить слегка — мол, срочно вызывают на работу — и то не хочет. Гордость. И упрямство.

— Лечу завтра,— поспешно сказала Марина, с порога увидев Павла и Женьку.— Тут самолеты только утром.

— Прекрасно,— сказал Женька. Он продолжал безмятежно курить.— Махнем в таком случае куда-нибудь. Завьем?

— Махнем,— повторил Павел, не трогаясь с места.

— Ну, что вы, мальчики,— жалобно сказала Марина.— Вам, дурачкам, предоставляется свобода, а вы скисли. Радоваться надо. Я бы на вашем месте...

— Мы и радуемся,— ответил Женька.

«Мы,— подумал Павел,— действительно,— мы». На какое-то мгновение он ощутил, что они с Женькой, как прежде — одно, и ничто не стоит между ними, и не было того вечера в ресторане, и не нужно ни о чем думать. Он даже вздохнул с облегчением.

А если так и надо — уехать Марине? Если это урок.

— Я готова,— прервала молчание Марина.— Пошли. Завьем.

— Не вздумай реветь,— вдруг сказал Женька, смотря Марине прямо в глаза.— Я этого терпеть не могу. Не беспокойся: мы тут не растеряемся.

— С чего ты взял?— голос у Марины дрогнул.— Пошли, пошли, а то раздумаю.

В тот вечер они гуляли по берегу, потом пили молодое, кислотавое вино на каменной террасе, нависшей над морем и, казалось, плывущей, как освещенный корабль, в темноте; сидели у домика на скамеечке под чинарой...

Марина была спокойной, чуточку грустной — куда девалась ее колкость! Она очень хотела, чтобы вечер прошел легко, как бывало когда-то.

Взошла луна и рассеяла плотную тьму. Марина поднялась:

— Не пора ли нам? Оставим луну до другого раза.

Павел и Женька промолчали, и Марина взмолилась:

— Ей-богу, очень хочется спать. И вставать рано.

Они проводили ее (домик, где жила Марина, был в двух шагах от них) и еще немного постояли у двери. Потом пошли к себе, молча легли, закурили. И, кажется, скоро уснули.

...Когда Павел проснулся, он увидел сидящую за столом Марину. Вероятно, он и проснулся оттого, что Марина сидела и смотрела на него. Предраассветный сумрак еще не рассеялся, и в неверном, зыбком, колеблющемся свете лицо Марины казалось бледно-синеватым, словно неживым.

Павел протер глаза. Марина сидела за столом и смотрела на него.

— Что случилось?— спросил Павел, садясь на кровати.

— Где Женька?

— Спит. Где же еще?

— Спит?

Женькина кровать была пуста. И аккуратно застелена.

— Развлекается?— пробормотал Павел, чтобы что-нибудь сказать. Он и в самом деле понятия не имел, где Женька.

Марина молчала. Павел потянулся за сигаретами и увидел в ее руках листок, вырванный из блокнота. Записка?

— Да, записка,— сказала Марина, угадав его мысль.— Прочти. Адресуется нам обоим.

«Мой срок истек. Призывают дела. Отдыхайте и не тужите. С приветом. Ваш Евгений».

— Болван! — выругался Павел.— И это все, на что он способен! Кретин.

— Не так уж это мало.— Марина зажгла сигарету, затянулась.— Значит, ты не знал, что он хотел уехать?

— Он и сам не знал. Ручаюсь, что ему это взбрестило в последнюю минуту.

— Утром два самолета. Один улетел. А мой через полтора часа.— Марина помолчала.— Но я не полечу.

Павел курил, и пепел сыпался прямо на одеяло.

— Я остаюсь,— сказала Марина с каменным лицом, прямо смотря на Павла.— Остаюсь с тобой.

\* \* \*

Теперь ему ясно вспомнилось это каменное лицо. Не то, что было потом, не те короткие минуты на рассвете, когда он не спал и Марина была рядом, и было прохладно, и белый, мглистый свет струился из щелей тростниковой шторы; и не те минуты, когда они молчали и, казалось, ощущали, как медленно плывет земля, и словно никого не было, кроме них, в целом свете — ему вспомнилось не все это, а ее каменное лицо. Странно, что сейчас, когда Марина ждала его, и они никуда не уйдут, и будут вдвоем.

Около дома Павел зашел в кондитерскую и купил торт. Потом у самого подъезда вдруг повернул обратно, прошел полквартилы, чтобы раздобыть бутылку вина. Вино он положил в портфель и ощутил там папку, в которой лежала Женькина работа. Она лежала там среди прочих бумаг — Павел не мог сказать каких. Безразлично — каких. Все они, даже самые важные, в соседстве с этой папкой потеряли свое значение. Все равно, о чем бы он сейчас ни думал, все упиралось в эту папку. В эту работу Е. Корнеева из Новосибирска.

Павел остановился перед дверью своей квартиры и, немного помедлив, позвонил. У него мелькнула мысль, что все это — торт, бутылка вина в портфеле, волнение — выглядит довольно забавно. Все-таки не первое свидание, он идет к себе домой, к своей жене, с которой они живут под одной крышей пятый год. Ну, да — пятый. Коварная штука — время. Можно с ним играть в прятки, стараться обогнать или задержать, а оно все равно тащит с собой, и ты просто как его тень. А захочет — само остановится. Или вернется назад. Как сейчас. Как будто и не было этих четырех лет.

— Как хорошо, что пришел,— сказала Марина, открыв дверь. Она стояла на пороге, зябко кутаясь в платок.

— Куда же я денусь?

Марина улынулась одними глазами. Павел, не раздеваясь, про-

шел на кухню, оставил там торт и вино. Вернулся в переднюю, снял плащ.

— Голодный?— спросила Марина.

— Холодный. Давай лучше выпьем,— Павел уселся в кресло и взял со столика одну из трубок.

Курить трубку научил его шеф, и теперь в квартире пахло тем же тонким, сложным запахом особого трубочного табака, что и в комнатах Алексея Алексеевича.

Синеватый дымок, медленно растекаясь, поплыл к потолку.

Точно такой же запах, как тогда в кабинете у шефа. Только в кресле сидел Алексей Алексеевич, а они с Женькой возле него, на стульях. Шеф швырнул тетрадь, потом нагнулся за ней, а они даже не пошевелились, чтобы помочь ему.

— За чтр будем пить?— Марина поставила бокалы на столик и уселась напротив Павла. Она была чем-то встревожена. Не такая, как всегда.

— А, пропади они все! — сказал Павел.— Напишу, и все. За это и выпьем.

— Пусть пропадают.— Марина помолчала.— А я скоро уеду. В командировку. Надолго.

— Куда? Если не секрет.

— В Среднюю Азию. На наши станции.

Павел знал, Марина давно мечтала поработать на эпидемстанциях Средней Азии — там ее опыт был, как она говорила, нужнее, да и звали ее давно. А ведь в своем деле она что-то значит, подумалось ему. Так. Выходит, прощальный вечер. Сейчас она скажет, что билет в кармане, а самолет улетает в ночь. В командировку. Надолго. А может — навсегда? У него словно что-то оторвалось внутри. Вот она и наступила, эта минута. Он всегда чувствовал, что она должна наступить. Как расплата. И рукопись Женьки — тоже. А, собственно говоря, за что расплата? Что он такое сделал? Почему он должен чувствовать себя в чем-то виноватым?

Глухое, холодное раздражение закипало в нем.

— Письмо от Женьки,— вдруг сказала Марина.

— Вот что... Ну и — как он там?

— В порядке.

— Дай поглядеть на караули.

— Возьми. Только письмо мне. А тебе приветы.

— Тебе письмо, а мне приветы,— повторил Павел,— О'кэй.—

Он с трудом сдерживался. Он должен отказаться от всего, от дружбы с шефом, по существу, самой возможности настоящей работы,— а ему приветы. Прекрасно. Очень хорошо. Он готов был все эти годы в институте бросить собаке под хвост, а ему приветы. Как говорится, не достаивает взглядом. Ну, что ж, прекрасно. Очень хорошо.

В эту минуту Павел не подумал о том, что сам он неделю тому назад получил письмо от Женьки — и там были приветы Марине. Так уж повелось: Женька писал им письма по отдельности. Он разделял их: Марина — это Марина, а Павел — это Павел. Очередное чудачество Евгения. Но сейчас Павел словно забыл об этом. Слишком уж натянута были нервы.

Марина, вероятно, заметила, как изменилось его лицо. С удивлением смотрела она, как дрожащими руками Павел листает записную книжку, набирает номер телефона. Занято. Снова набирает. Она не могла понять, что вывело его так из себя. Обиделся на Женьку? Разозлил ее тон? Каким-то чутьем она угадала — сейчас свершится что-то, чего не должно совершиться, и что это связано с Женькой.

— Подожди,— попросила она.— Не звони. Остынь.

Павел не ответил. Как раз в этот момент ему удалось соединиться.

— Иван Варфоломеич?— произнес Павел, хотя сразу узнал его.

— К вашим услугам,— ответили в трубке.— С кем имею честь?

— Не узнает или прикидывается? И вдруг где-то в глубине мелькнула мысль: не сам ли он накрутил себя, чтобы отказаться. Как будто только и ждал, пока подвернется повод. Любой. Лишь бы повод.

Услышав этот густой, барственный бас, Павел ясно представил себе, что означал его отказ для Женьки. Уж Варфоломеич не остановится на полпути. Не из таких. Найдет другого, подходящего рецензента. В этом можно не сомневаться.

Павел назвал себя, и бас завибрировал мягкими модуляциями.

— Дорогой мой, рад, что не забыли старика. Очень рад! Чем обязан?

— Вынужден вас огорчить, Иван Варфоломеич,— сказал Павел,— к сожалению, не смогу написать отзыва. Совсем упустил из виду — у меня сверхсрочная работа...

Трубка молчала, и Павел продолжал говорить, объяснять. Он хотел, чтобы его отказ прозвучал коротко. Вежливо, но твердо. А получилось так, будто он в чем-то оправдывался. Когда наконец иссяк поток его объяснений, Варфоломеич, как показалось, чуть насмешливо произнес:

— Сочувствую, коллега, но теперь уже это невозможно. Как говорится, ни в какие ворота. Аз, грешный, полагаясь на ваше слово, сообщил о сем Алексею Алексеевичу. Работа-то в компетенции вашего института. Так что теперь вы уж с ним. Поручит другому — дело хозяйское. А меня, старика, увольте...

— Хорошо. Поговорю с Алексеем Алексеевичем,— устало сказал Павел.— Извините за звонок. Будьте здоровы, Иван Варфоломеевич. Спите спокойно.

Павел не мог отказать себе в этом «спите спокойно». Что ж, Варфоломеич и будет спать спокойно. Он свое дело сделал. Обложил его со всех сторон — так, что и податься некуда.

Только сейчас Павел почувствовал, как изнервничался, измучился за этот день. Все ему вдруг стало безразлично. Захотелось просто лечь и накрыться с головой, как это бывало в детстве, когда его оставляли одного в комнате и гасили свет, а он боялся темноты и прятался от нее под одеяло. А теперь не спрятаться, никто не поможет, никто не решит за него, как быть. Никто.

— Что-нибудь случилось?— спросила Марина и легко коснулась его волос. Ах, как не вовремя заговорила она о письме и о своей командировке. Совсем не вовремя.

— Случилось.

— Расскажи,— ее пальцы снова притронулись к его волосам, и рука осталась на плече.— Начни с пустяка. Хочешь, я помогу тебе?

Какая легкая у нее рука. Удивительно легкая. Только чувствуешь, что она есть. Ну, да — начать можно и с пустяка, хотя бы с того вечера в ресторане. Или еще раньше — с той минуты, когда перед дверью шефа Женька заупрямился и хотел удрать, а он удержал его, и сверху спускалась девушка — тогда Женька позвонил. Все имеет следствие и причину. Они остались с Мариной в Крыму, потому что Женька решил, что он — лишний. И уехал, чтобы продолжать общую их работу, — поэтому появилась рукопись Е. Корнеева. Конечно, начать можно с пустяка, например с того момента, когда Павел бросил рукопись в стол и сказал Варфоломеичу «О'кэй». В конце концов неважно, с чего начинать. Марина легко восстановила бы всю цепь. Но именно ей он не скажет. Никогда не сможет сказать.

Ну, хорошо, продолжал думать Павел все о том же, предположим, можно объяснить отказ — Корнеев мой друг, не мне говорить о нем. Предположим, что так. Все равно (теперь уже в этом не было и тени сомнения) отказ будет равносильно разносу. Тот, другой, кому передаст работу Варфоломеич, не постесняется. Третий раз старик не допустит осечки. Под одеялом не спрячешься от темноты. Есть только один способ преодолеть страх — встать и зажечь свет. Все рассказать Марине. Написать отзыв. Уехать к черту на рога. Все начать сначала.

Павел потянулся за зажигалкой.

— Хочешь, сварю кофе? — сказала Марина. Наверно, он долго молчал. Или так показалось, что долго. Ее рука соскользнула с его плеча, и словно что-то замкнулось над ним, отгородило его от Марины. Она вдруг отдалилась. Павел слышал ее шаги, шум воды на кухне, — но все это еле доносилось до него, словно шло издалека.

— Значит, так: давай пить кофе.— Марина пододвинула к Павлу дымящуюся чашку и откинулась в кресле.— С фирменным тортом.

Надо встряхнуться, подумал Павел. Марина сидела напротив него, как будто никуда не уходила. Она курила и смотрела в пространство. От кофе исходил приятный, бодрящий аромат. Один обжигающий глоток. Надо встряхнуться.

— Правда, у нас красиво?— вдруг сказала Марина.— Только чуточку холодновато. Ты этого не находишь? Нет, все-таки холодновато. Вроде образцово-показательного интерьера на выставке. Так живут молодые талантливые ученые. Эталон номер три-бис.

Павел молча прихлебывал кофе. Начинается. Ладно. Пусть лучше так. Только бы не обрывалось совсем. Все равно он не скажет. Ничего не скажет.

— Прекрасная квартира. Прекрасная пара,— продолжала Марина.— Он — талантливый физик, она — сотрудник эмигрантской. Рядовой сотрудник, но прекрасная женщина. Первый разряд по художественной гимнастике. Может поддержать интеллектуальный разговор. Кончила курсы английского языка.

— Остановись,— попросил Павел.

— Теперь это неважно. Все равно рано или поздно придется расплачиваться. Ты еще не понял этого?

— Расплачиваться?

— Ну, да. Можно построить дом. Даже на болоте. Красивый. Современный. Только жить в нем будет нельзя.

Павел встал:

— Мне надоели твои загадки,— он с трудом сдерживался, чтобы не закричать.— Только я должен. Обязан. А вы все — ничего не должны. Вы только предъявляете счет. Ну, так вот — сами платите по этому счету. Сами.

— Каждый сам за себя,— сказала Марина.— По-немецки. Хорошо,— она помолчала,— звонил твой шеф, просил зайти к нему, если ты свободен. Нет, ничего срочного. Просто приглашение на чаек. Прости, что не сказала сразу. Хотела побыть с тобой. Вдвоем.

— Побыли...

— Бывает. Все в жизни бывает.

\* \* \*

Он не помнил, какие видения и лица возникали перед ним. Осталось ощущение: какая-то сила тащит и тащит его вниз, в черный провал, и он летит, и нет дна, только удар все ближе, неотвратимее — и вдруг он словно повисает, и теплые волны медленно вздымают его вверх... А иногда сквозь глухую, черную, давившую толщу доносились какие-то звуки. Потом он стал различать голоса, шаги, отдельные слова...

Когда Павел первый раз открыл глаза с тех пор, как его при-



везли в больницу, прошло двое суток. В мерцающем свете показалось знакомое лицо — оно приближалось, словно пробивалось к нему, обретая четкость, как в объективе, когда добиваешься резкости, но до того, как Павел отчетливо увидел это лицо, он уже знал, что около него сидит мать и держит его руку. Он ощутил тепло ее пальцев и ладони — такое знакомое, легкое и властное прикосновение, передающее ему силу. Потом постепенно, как из тумана, возникла вся комната, и сестра в белом халате, склонившаяся над столиком с лекарствами, и тогда Павел понял, что это больница. И снова его пронзило ощущение падения и неотвратимости удара. Но было уже не так страшно, потому что рядом сидела мать и спасительный ток жизни исходил от ее руки.

— Что со мной?— как ему показалось, громко произнес Павел. Но сестра даже не пошевелилась, и только мать поняла его:

— Ты упал. На лыжах. Но теперь все обойдется. Не спрашивай больше. Тебе нельзя разговаривать.

И Павел вспомнил, как вслед за Женькой он летел по обледеневшей горке, как рвался ветер, и все росла скорость, и все труднее было удержаться, а глубокий, рыхлый снег, как спасение, был бесконечно далеко внизу, и он с отчаянным усилием, все больше теряя власть над своим телом, удерживал равновесие. Потом его подбросило, и поле со снегом, оказавшееся вдруг перед ним, поднялось и надвинулось на него...

— А Женька?— одними губами спросил Павел.

— Он три километра со сломанной рукой тащил тебя. Если бы не он... Теперь все обойдется,— снова, как заклинание, повторила мать.— Только не разговаривай!

Женьку пустили в больницу через неделю, когда Павел начал заметно поправляться, мог разговаривать, а остальное, как сказал профессор, было делом времени.

Женька выглядел так же, как всегда. Как будто они только вчера расстались. Растрепанные волосы. Неизменная лыжная куртка. Клетчатая рубашка с расстегнутым воротником. Дерзкий огонек в темных глазах. От него пахло свежим, весенним воздухом, улицей, солнцем, волей — даже рука в гипсе не разрушала это ощущение лихой бесшабашности, которое вызывал Женька.

— Бездельничает?— сказал он, садясь на кровать.— А кругом врачи, и медсестра в халате...

— Точно,— ответил Павел.— Как в песенке.

До чего же он был рад видеть этого типуса! Просто видеть. Знать, что они еще вместе будут шататься по улицам, записывать по очереди лекции, трепаться в курилке Ленинской библиотеки. Впрочем, он забыл — лекций больше не предвидится. Они ведь дипломники, люди почти свободные, им полагается дни и ночи не

спать — разгрызть науку. Но об этом Павел подумал с грустью. Ему то уж не придется защищать свой диплом, который, как водится, был только начат, а времени до защиты оставалось совсем ничего. Месяц. Ему, конечно, дадут академический отпуск на год. Но год будет потерян. А Женьку распределяют без него.

— Как рука?— спросил Павел.

— Нормально.— В доказательство Женька поднял ее вверх.— Через три дня снимут. Ну а ты,— он обвел взглядом палату,— надо долго?

— Недели две, говорят...

— Бюрократы?

— Перестраховщики.

Павел сказал так для порядка. К вечеру у него начинались отчаянные головные боли, и, казалось, не будет им конца. А когда он пробовал вставать, ноги, словно чужие, подгибались, не выдерживая тяжести тела, и подступала противная тошнота. В общем, дело дрянь. Две недели...— по правде говоря, ему не верилось, сможет ли что-нибудь измениться за это время.

— Вчера в деканат приходил этот тип из института, в котором мы проходили практику,— сказал Женька, поглядывая в окно.— Заявка на нас с тобой уже в госкомиссии. Этот тип весьма был огорчен твоим легкомысленным поведением. Выбыть из строя ради того, чтобы прокатиться с горки — несерьезно! Очень он сокрушался.

— Невозвратимый урон,— через силу усмехнулся Павел.— Институт этого не переживет.

— Трудно им, беднягам, придется,— поддакнул Женька.

Разговор был не из приятных. Женьке легко остричь. Ему — что, а от некоторых лихих лыжников институт уплывает. Может быть, навсегда. Свято место пусто не бывает. А Павел-то радовался, что его с Женькой заприметили. В академическом институте. Где он мечтал работать.

— Ну, как там — коллектив, старшие товарищи?— спросил Павел, чтобы переменить тему.— Жизнь бьет ключом?— Ох, и скверно же было у него на душе.

— Бьет.

— Тогда я спокоен. Передай, что я горжусь ими.

Павел откинулся на подушки. Он почувствовал легкую тошноту — первый признак надвигающейся головной боли. Надо бы принять таблетку, закрыть глаза и лежать, не двигаясь. Но ему не хотелось, чтобы Женька уходил, и Павел продолжал в том же духе:

— Горячий привет баскетбольной команде. Больше тренировок. Больше черновой работы.

— Доведу до сведения,— пообещал Женька.

Они помолчали.

— Послушай, есть идея. Только не прерывай.

— Выкладывай,— сказал Павел.

— Все это вполне реально.— Женька помялся.— Ты передаешь мне свои гениальные наброски диплома, а я довожу их до конца. Через месяц, удивляя и поражая всех, ты являешься на защиту. Она проходит блестяще. Все восхищены. Общее замешательство на почве восторга. Потом мы сдаем государственные экзамены. И вот мы — научные сотрудники научно-исследовательского института Академии наук СССР. И советская наука обходится без потерь. И этот тип, который приходил к нам с заявкой, будет доволен. Его нельзя огорчать. Он хороший человек.

— Бред?— спросил несколько ошеломленный Павел.— Из раздела, что кому снится?

— Явь,— сказал Женька.— Прекрасная действительность, обгоняющая мечту.

— Бред.

— Видишь ли, мой бедный друг, в деканат поступило сообщение, что твой диплом почти готов — ты успел много сделать до больницы. Не терял времени понапрасну, как некоторые другие. Ты же у нас — примерный студент.

— Дезинформация. Гнусная клевета.

— Не спорю,— усмехнулся Женька.— Тут есть известное преувеличение. Но в противном случае в деканате не поверили бы, что в таком состоянии ты способен завершить диплом.

— Ты хочешь сказать — начать и кончить.

— Я хочу сказать то, что сказал.

— Дальше,— нетерпеливо бросил Павел.

— Все очень просто...— Женька помялся, подыскивая слова.— Ты здесь, в больнице, наносишь последние штрихи. Завершаешь свою работу. Я — связной между тобой и научным руководителем. Понятное дело, буду держать тебя в курсе. Учти, в деканате идея принята на ура!

— Блестящая операция,— сказал Павел.— Только не учтена одна деталь. И, как всегда, решающая.

— Любопытствую узнать...

— Твой диплом.

— Что мой диплом?

— Когда ты будешь писать свой диплом, хотел бы я знать?

— Ах, это-то...— Женька небрежно махнул здоровой рукой.— Так я его уж написал.

— Врешь.

— Осталось поставить точку. Остальное сделано.

Павел по глазам видел, что Женька врет. Самым наглым образом. Да он даже и не начинал свой диплом — это было ясно. Сколь-

ко же ему сидеть, да и хватит ли пороху на два диплома — одни источники просмотреть что стоит!

Но ни в этот, ни в другой раз у Павла не хватило сил отказаться. Он подчинился, не очень-то веря в успех, но все больше втягиваясь в эту игру. И самое удивительное было то, что все произошло почти так, как расписывал Женька. Блестящая защита. Все восхищены. Общее замешательство на почве восторга.

\* \* \*

Все произошло именно так. Вот только свой собственный диплом, который Женька защищал на неделю позже, он чуть не провалил. Похоже было на то, что его руководитель диплома, хорошо знавший Женьку, смекнул, в чем дело. Это, вероятно, и спасло дипломанта Е. Корнеева. Павел долго не мог забыть того чувства стыда, который он испытал, когда Женька довольно-таки невразумительно отвечал на вопросы. Только поразительная интуиция спасала его от окончательного провала. Беспечно он ходил по самому краю, лишь в последнюю минуту чудом делая нужный шаг.

Тройку ему все-таки поставили, правда, после долгого совещания.

\* \* \*

Теперь похожее жгучее чувство вновь охватило Павла. Как будто Женька на его глазах погружается куда-то, исчезает, а он не может помочь. Что-то мешает Павлу протянуть руку, что-то его держит.

Он не заметил, как подошел к дому Алексея Алексеевича. Знакомый подъезд. Лестница. Лифт. Марина могла бы и не говорить об этом звонке шефа. Впрочем, для обоих это был хороший предлог мирно окончить разговор. Разойтись, хотя бы на этот вечер, чтобы не ставить точку.

У двери квартиры шефа, прежде чем позвонить, Павел взглянул на часы. Одиннадцать. Почти два часа он добирался сюда пешком, инстинктивно отдавая эту встречу. Что он скажет Алексею Алексеевичу? Варфоломеич, вероятно, рассказал старику о своем разговоре с Павлом. Как объяснить шефу, почему он сначала согласился, а потом отказался написать отзыв? С Алексеем Алексеевичем хитрить нельзя. Женька уходил все дальше, и все меньше оставалось у Павла времени, чтобы удержать его, не дать провалиться, исчезнуть. Как дурной сон, снова подумал Павел. Он протянул руку к звонку и прислушался. Но никто не спускался с верхнего этажа, никто не стучал каблучками. Никто не подтолкнул его руку. Как тогда руку Женьки. Что же все-таки сказать шефу? Павел еще помедлил и заставил себя позвонить.

Алексей Алексеевич хворал и выглядел утомленным. Он обра-

довался приходу Павла, провел его в кабинет, усадил в кресло и сам пошел ставить чай: «Ликовая дама» была в гостях.

Мерно, неторопливо, свидетельствуя, что мир стоит прочно и нерушимо, отсчитывали секунды стенные часы. Все здесь было знакомо — и часы, и гравюры, и бронзовый человечек. Знакомо — и стояло от века. Так надо и жить. Прочно. Спокойно. Основательно. Не рваться. Не спешить. Не зачеркивать прожитое. Быть самим собой. Легко сказать — быть самим собой... Ну, вот — опять. Нет. На сегодня хватит.

Павел пошел на кухню и вызвался заварить чай «по-азербайджански».

— Великолепно! — оживился Алексей Алексеевич. — Вы — чай, я — стол!

Он засуетился, неловко доставая варенье, ча́шки, конфеты. Впервые Павел подумал, как, в сущности, старик одинок. Сын его совсем еще мальчишкой погиб на фронте. Жена давно умерла. А он не согнулся, не очерствел. Почему бы с ним не поговорить по-человечески, не рассказать все, как есть? Но разве его переубедишь? Его теория — это вся его жизнь.

Алексей Алексеевич медленно помешивал ложечкой чай и словно рассуждал вслух:

— Все дела да дела, а вот, выражаясь по-старинному, по душе поговорить времени не хватает... А ведь без этого нельзя.

— Хотите по душе? — усмехнулся Павел. Не в характере шефа было вести «окультурные беседы».

— Не скрою, хочу... — задумчиво ответил Алексей Алексеевич.

Тень от абажура падала на его худощавое чеканное лицо с высоким лбом, глубокими глазницами и резкими линиями вдоль щек — и от этого оно казалось замкнутым и суровым. Лишь светлые глаза, мягко и пристально, словно вызывая на откровенность и подбадривая, смотрели на Павла.

А ведь старику действительно все можно рассказать. Все — только не это. Ни лжи, ни предательства он не простит. Не поймет — ни по отношению к себе, ни по отношению к Женьке. Как же мог он не увидеть новых идей в работе Женьки и не согласиться с его доказательствами? Неужели настолько сжился со своими представлениями? Впрочем, в истории науки такое бывало. Не принял же сам Эйнштейн квантовой механики.

Никакого отзыва. Отказаться. Отказаться. Теперь Павел решил это твердо. Другого выхода нет. Пусть уж так.

— Мне тут звонил Иван Варфоломеевич, — сказал Павел, отхлебывая чай, — просил написать отзыв об одной работе, я согласился по слабости, но сделать не смогу... Работа серьезная, а у нас в лаборатории аврал...

Светлые глаза все так же пристально смотрели на Павла.

— Кому бы ее переплавить, Алексей Алексеевич, как вы думаете?

Глаза чуть потемнели. Или показалось? Старик потянулся за трубкой. Начал набивать ее. Он не торопился отвечать, и Павел проворчал:

— Дурацкое положение.

— Ну, а саму эту работу вы прочитали?

— Не успел. Так — только пролистал.

— Жаль. Очень жаль.— Алексей Алексеевич раскурил трубку, и клубы голубоватого дыма скрыли его лицо.— Очень жаль,— повторил он.— А я полагал, мы поговорим о ней, кое-что обсудим...

Неужели засомневался? — подумал Павел.— Да нет, просто жаждет получить еще одно подтверждение своей непогрешимости. Ничего. Обойдется и без подтверждения.

— Так уж получилось,— сказал Павел, чтобы закончить этот разговор. Правда, он понимал, что тема далеко не исчерпана. Существовал еще один аспект, которого оба они, словно по молчаливому уговору, не касались. Работа была все-таки подписана «Е. Корнеев». Это обстоятельство, хотя о нем не упоминалось, придавало беседе особый смысл. Е. Корнеев словно сидел здесь третий за столом. Сидел и слушал, что они говорят. И усмеялся. Или — мрачнел. Впрочем, пока его имя не называлось, он существовал лишь в мыслях, воображении. Но стоило бы хоть раз упомянуть его, как он словно бы материализовался. Такова сила произносимого слова. Но, кажется, к счастью, у старика хватит такта не назвать автора работы.

Шеф молча курил, отхлебывая чай, казалось, нисколько не забываясь о том, чтобы возобновить беседу.

— Пожалуй, нет, не приходило...— тихо, словно самому себе, неожиданно проговорил он.

— Вы о чем?

— Скажите, Павел, вам никогда не приходило в голову, что есть вещи поважнее науки, хотя иногда и связанные с ней?

— Интереснее?

— Нет, поважнее.

— Будущее человечества?— спросил Павел. Дудки. Никакой исповеди не будет. К чему изливаться, если нельзя рассказать о главном?

Светлые глаза, упорно смотревшие на Павла, поскущнели, и Алексей Алексеевич заметил:

— Не сомневаюсь, о человечестве в глобальных масштабах вы печетесь денно и нощно. Удобная вещь — глобальный масштаб... Обобщенные категории, как равнодействующие множества сил. Монады. Формации. Эпохи. Цивилизации. Куда как хорошо! Чистое мыш-

ление. Горние выси духа. Оттуда, с высоты, людей не разглядеть...

Что это он, удивился Павел, ударился в риторику? И с такой страстью? Где же наше олимпийское спокойствие? Сдают нервы. Старее шеф, старее.

— Ну, а когда люди кажутся маленькими или их не видишь вообще,— продолжал Алексей Алексеевич,— возникает некое торжественное отношение к себе. К своим личным проблемам. Не к другим, а к себе — торжественно-величественное отношение...— повторил он и подчеркнул свою мысль плавным, несколько театральным жестом в античном духе.

Вот он, другой, сидящий третьим за этим столом, Евгений Корнеев, подумал Павел, старик пожалел его, талантливого, ошибающегося. Какая коллизия: конфликт между научным долгом и чувством? Долг, конечно, победит. Тем более — долг защищать собственную теорию. Но, может быть, шеф хочет смягчить неизбежный удар, ищет эту возможность? Хотел бы услышать совет Павла на этот счет? Иначе — к чему бы весь этот разговор? Но что можно посоветовать?

Вслух Павел сказал:

— Лучше спустимся на землю. Все равно там, наверху, не спрячешься. По опыту знаю. С помощью ползучего эмпиризма.

— Хорошо, что знаете,— сухо зато проговорил Алексей Алексеевич и поднялся:— Партию в шахматы?

Он был явно обижен ироническим ответом Павла и дал понять, что разговор окончен. Душеспасительная беседа не состоялась. Что ж, очень хорошо. О душе не получилось, о делах — ни к чему. Остается древняя интеллектуальная игра. Гимнастика ума и чувства.

А выпутываться он должен сам. Старик даже не хочет посоветовать, кому передать работу. Куда как хорошо философствовать насчет человеколюбия и горних высей духа, а выпутываться должен он сам. А может, зря я сказал, что не прочитал эту работу? — вдруг подумал Павел.— Все равно старик не поверил.

Он почувствовал: что-то связывающее его с шефом оборвалось. Старик явно был настроен поговорить об этой работе. Вот только зачем, если дальнейшее развитие событий, как говорится, predetermined?

Павел прошел вслед за Алексеем Алексеевичем в кабинет и остановился возле маленькой фотографии, одиноко висящей в простенке возле окна. Как раз напротив письменного стола. Лучше всего ее видно, когда сидишь за столом. Старик, наверно, отрывается от работы и смотрит на нее. Вероятно, единственный фронтальной снимок. Парень в расстегнутой гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке сидит на траве и, улыбаясь, глядит прямо в глаза. Какое хорошее лицо. Может быть, после боя, а он жив, и трава, и солнце...

Горные выси духа. Высота. А она в этом лице, в этом прямом взгляде. В этой судьбе.

И вдруг далекое воспоминание пронзило Павла, как неожиданный удар по туго натянутой струне. И как тогда, его обожгла горячая сильная волна, и что-то ответно зазвенело в нем. Тогда... Было ли это на самом деле? Но Павел будто снова увидел: изба на краю поля, чуть дальше лес, темнеющий в тумане, луг в матовом серебре ночного мороза, и над всем — тишина. Непостижимое молчание. Они с матерью только что приехали и, глядя вдаль, стоят у телеги, где лежат их вещи. Он не знал, сколько времени они простояли так. И вдруг — крик: «Эй, Федьк, лошадь ушла!» Голос прокатился над лугом, полями, лесами и замер, утонул в тишине. И так же, как этот голос, неведомо откуда появился худой чернявый парень в расстегнутой рубаше без ремня и закатанных до колен штанах. Он мчится к лесу большими прыжками, будто не касаясь земли, оставляя лишь темнеющий след на траве, и пропадает в тумане. А Павел все стоит, как заколдованный, не понимая, что с ним происходит, потрясенный тем, что открылось ему в тишине этого утра.

Почему сейчас вспомнились те минуты? Именно сейчас! Как будто в лице человека, сидящего на траве в расстегнутой гимнастерке, было что-то, вызвавшее в памяти эту далекую картину. Что-то от шири и молчания того утра. Может, после боя солдат увидел облака, деревья, лесистый пригорок как бы заново, теми же глазами, что и городской мальчишка, впервые ощутивший тревожную власть природы?

— Погиб за четыре дня до победы. Оставалось четыре дня, — Алексей Алексеевич, оказывается, стоял за спиной Павла. Старик помолчал и вдруг положил руку на его плечо: — Есть вещи поважнее науки, Павел. Поверьте. И поважнее наших удач и забот...

Видно, он хотел еще что-то сказать, но раздумал. Решил, что разговора все равно не выйдет. И все-таки положил руку на плечо. Все дело в той фотографии. В той силе, которая заключалась в ней. Эта сила тревожила и притягивала. Она была выше, чище повседневных забот и волнений. Как и та красота, которая обожгла Павла тогда, в детстве. И чище, и могущественней. Ведь это она объединила их, когда Алексей Алексеевич положил руку на плечо. Повернуться сейчас к старику, излить душу. Что-то сказать. Настоящее. Но тех единственных, нужных слов не было, и Павел привычным усилием подавил в себе это желание. И все же у него не хватило духу отойти от фотографии, пока он чувствовал руку Алексея Алексеевича. Так и стояли они, вглядываясь в молодое улыбающееся лицо.

Тихо шелестел маятник часов. И маленький бронзовый человечек — крестьянин времен Жакерии — словно застыл на своем вечном посту. Такой, как всегда. Гордый и непримиримый. Готовый к на-



падению и защите. Не ведающий ни сомнений, ни страха. Он познал свободу и скорее умрет, чем покорится.

Он стоял на своем посту и словно охранял их молчание.

\* \* \*

Оно было бесформенное, темное и мягкое. Павел всей кожей ощущал эту страшную, обволакивающую мягкость и бесформенность. Стоило ему отступить, отодвинуться, как оно опять неслышно подкрадывалось. А сзади был провал, и Павел знал: как только он шевельнется еще раз, все будет кончено — он полетит вниз. Ему не хватало воздуха, и крик застревал в горле, и отступать уже было нельзя, а оно опять придвинулось. Придвинулось и затаилось, наблюдая за ним. Теперь, если оно шелохнется, Павел не выдержит — и все будет кончено... Но ведь это сон, вдруг смутно ощутил он. Наверно, это во сне. Надо сделать усилие и проснуться. Собрать все силы, сбросить — и проснуться, пока оно не шелохнулось. Павел напрягается, что-то рвется с болью, и смутно, как в тумане, он видит угол книжного шкафа, кусок стены, окно, завешенное шторой.

Ночь или утро? Машинально он тянется к выключателю. Вспыхивает свет ночника над головой, Павел садится и сразу вспоминает, как он пришел от Алексея Алексеевича, и Марина уже спала, и чтобы не будить ее, он прилег у себя в кабинете — только успел снять пиджак, так устал — прилег и уснул. Ну и сон. Он не помнил, чтобы ему снилось такое. Он вообще не помнил своих снов. Некогда помнить. Не до этого. Но сейчас в нем еще не успело погаснуть ощущение кошмара, ужаса перед надвигающимся бесформенным, темным и мягким, от которого нет спасения. Нервы. Так и свихнуться недолго. Хватит. Пора кончить со всем этим. Пора.

Павел подошел к окну. Без четверти пять. Начинало светлеть. Он отдернул штору и выключил ночник. Тусклый, зыбкий свет сразу погасил все краски и тени. Только теперь Павел заметил, что на улице моросит дождь. Стало холодно. Павел пошел на кухню и поставил кофе. Надо согреться. Выпить кофе, принять душ, почувствовать себя человеком. Пора кончать со всем этим.

Пока Павел принимал душ, он решил, кому позвонить, чтобы сплавить эту работу. С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Или согласиться. Это уж пусть другие. Как хотите — соглашайтесь или не соглашайтесь. С него хватит. Когда Павел выходил из ванной, он услышал телефонный звонок. Что за блажь — звонить в шесть утра. Люди отдыхают. Спят. И видят сны. Но телефон все звонил, и пока Павел раздумывал и назло телефону медленно шел в комнату, Марина проснулась и взяла трубку. Павел не слышал, что она там говорила.

Дождь все усиливался, и Павлу опять стало холодно. Он закурил

трубку и сел в кресло, дожидаясь, пока Марина выйдет. Он решил не спрашивать, кто звонил. Скорее всего, это была ошибка. Вот он сплавит работу Е. Корнеева, и все будет хорошо. Все пойдет по-прежнему. Не очень-то ему верилось, что все будет хорошо, но очень хотелось. Очень.

Наконец Марина прошла на кухню. Что-то она там готовила, потом принесла посуду, чашки в столовую и начала накрывать на стол. Странно, что занялась этим так рано, странно. Что она решила устроить завтрак в столовой, а не на кухне, как всегда. Уж не ради ли воскресенья? Марина была тщательно одета, и Павел отметил это про себя, как добрый знак. Может, и в самом деле все наладится и ничего страшного не произошло? Просто устал — вот и сдали нервы.

Марина накрыла на стол и подошла к окну.

— Приготовься к сюрпризу.

— Приятному?— спросил Павел.

— Да.

— Не томи.

— Потерпи немного. Полминутки.

— Полминутки можно,— согласился Павел.

— Дождь,— сказала Марина.

Смотреть на дождь, как и на огонь, можно без конца, и Павел встал рядом с Мариной. Она посмотрела на него и что-то тревожное, незащитное промелькнуло в ее взгляде. Павел хотел обнять ее, но не решился. Уладится, успокоил он себя, все уладится. И вдруг Павел почувствовал, как все натянулось в Марине, и сразу же увидел в конце двора, у самой арки, бегущего человека. Павел не разглядел лица, но понял, догадался, кто мог так, с непокрытой головой и развевающимися полами расстегнутого плаща бежать под дождем.

Так весело, так беззаботно бежать под дождем.

— Женька,— сказала Марина чуть дрогнувшим голосом.

Человек приближался.

— Это он звонил. Прямо с вокзала,— Марина говорила медленно, с паузами, по одному слову.— Алексей Алексеевич вызвал. Телеграммой. Оценил Женькину работу как выдающуюся. Предложил поставить его доклад на сессии и развернуть широкую дискуссию.

Наверно, Марина говорила теми же словами, что и в телеграмме, которую ей прочитал Женька по телефону. Прочитал с выражением. Не хуже Левитана.

Павел стоял и смотрел, как Женька бежал под дождем. У подъезда он поскользнулся и бухнулся в лужу. Вскочил, перепрыгнул через ручеек. Он очень торопился. К нему, к Марине.

Торопился поскорее увидеть их и поделиться своей радостью.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Дойти до горизонта (по- весть) . . . . .	3
Один день после приезда (рассказ) . . . . .	47
Песня вещей птицы (рас- сказ) . . . . .	56
Однажды летом (рассказ)	69
Торопись с ответом (по- весть) . . . . .	78

**Соломон Владимирович  
Смоляницкий**

### **ТОРОПИТЬ С ОТВЕТОМ**

Редактор А. С ко н е ч н а я. Худож-  
ник В. Ш о р ц. Худож. ред. Э, Р о -  
з е н. Техн. ред. Л. С а м с о н о в а,  
Корректор Л. Л о г у н о в а.

Сдано в набор 12/1-71 г. Подписано  
к печати 6/VIII-71 г. Формат бум.  
84×108<sup>1/2</sup>. Физ. печ. л. 3,5. Усл.  
печ. л. 5,88. Уч.-изд. л. 7,35. Изд.  
инд. ЛХ-577, А06133. Тираж 50 000 экз.  
Цена 22 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия»,  
Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополи-  
графпрома Комитета по печати при  
Совете Министров РСФСР, г. Элект-  
росталь Московской области, Школь-  
ная, 25. Заказ № 2113.

22 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

